

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

**НАУКА В СССР:  
СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ  
ИСТОРИОГРАФИЯ**

СБОРНИК  
ОБЗОРОВ И РЕФЕРАТОВ

МОСКВА  
2014

ББК 72.3  
Н 34

Серия  
«История России»

**Центр социальных научно-информационных  
исследований**

Отдел истории

Ответственный редактор –  
канд. ист. наук *О.В. Большакова*  
Отв. за выпуск – *И.Е. Эман*

Н 34 **Наука в СССР: Современная зарубежная исто-  
риография:** Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН.  
Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. истории; Отв.  
ред. Большакова О.В. – М., 2014. – 194 с. – (Сер.: Исто-  
рия России).  
**ISBN 978-5-248-00733-2**

Представлены рефераты и обзоры новейших зарубежных работ по истории советской науки и техники, а также медицины и психиатрии. Рассматриваются особенности государственной научной политики, роль экспертного знания в формировании внутриполитического курса, вклад научно-технических достижений в укрепление международного престижа СССР в послевоенные годы.

Для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов.

ББК 72.3

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие: История науки – история страны .....	5
<i>Кожевников А.</i> Великая война, Гражданская война в России и изобретение «большой науки». (Реферат) .....	15
Популяризация науки и научная фантастика в России / СССР. (Сводный реферат) .....	20
<i>Джонсон Д.Э.</i> Как Санкт-Петербург учился познавать себя: Русская идея краеведения. (Реферат) .....	37
<i>О.В. Большакова.</i> Формирование нового человека: Биомедицинские науки в России XX века. (Современная англоязычная историография). (Аналитический обзор) .....	47
<i>Тольц В.</i> «Собственный Восток России»: Политика идентичности и востоковедение в позднеимперский и раннесоветский периоды. (Реферат) .....	81
Политика и теория языка в СССР, 1917–1938: Рождение социолингвистики. (Реферат) .....	92
Портреты историков сталинского периода: И.И. Минц и А.М. Панкратова. (Сводный реферат) .....	102
<i>Поллок Э.</i> Сталин и советские научные войны. (Реферат) .....	112
<i>Ларюэль М.</i> Концепция этногенеза в Средней Азии: Политический контекст и институциональные медиаторы (1940–50). (Реферат) .....	119
<i>Брейн С.</i> Песнь о лесах: Российское лесоводство и сталинская охрана природы, 1905–1953. (Реферат) .....	125
<i>Браун К.</i> Плутопия: Нуклеарные семьи, атомные города и глобальные плутониевые катастрофы в США и Советском Союзе. (Реферат) .....	133
<i>М.М. Минц.</i> Советская космонавтика в современной зарубежной историографии .....	145

Почему Советскому Союзу не удалось обогнать США в развитии вычислительной техники и информационных технологий. (Сводный реферат) .....	167
<i>Герович С.</i> Параллельные миры: Формальные структуры и неформальные механизмы послевоенной советской математики. (Реферат) .....	177
<i>Станциани А.</i> Чаянов, Керблай и шестидесятники: Глобальная история? (Реферат) .....	181
<i>Грэхем Л., Дежина И.</i> Наука в новой России: Кризис, помощь, реформы. (Реферат) .....	187

## **ПРЕДИСЛОВИЕ: ИСТОРИЯ НАУКИ – ИСТОРИЯ СТРАНЫ**

Научные достижения Советского Союза, которые внесли столь существенный вклад в формирование его международного престижа в послевоенные годы, всегда привлекали внимание западных специалистов. Более того, в годы холодной войны сама научная дисциплина, занимавшаяся «изучением врага», – советология, оказалась обязана многими своими успехами такому событию, как запуск первого советского спутника. Знаменитый американский *Sputnik act* – закон об изучении важных со стратегической точки зрения иностранных языков, принятый Конгрессом в 1958 г., способствовал тому, что количество изучающих русский язык в колледжах и университетах США многократно увеличилось, что обеспечило массированный приток молодежи в советологию.

Зарубежные специалисты по Советскому Союзу (и не только советологи) сосредоточивали свое внимание на изучении целого ряда тем, неразрывно связанных с наукой. Во-первых, высокий престиж науки в СССР и массовое увлечение техникой составляли существенную характеристику советского общества, которое углубленно анализировалось на Западе. Во-вторых, особый интерес вызывало создание советского ядерного оружия, что явилось важным фактором в глобальном противостоянии двух сверхдержав – СССР и США. Кроме того, поскольку в центре внимания исследователей тогда находилась советская идеология, активно изучался не только марксизм, но и другие течения русской научной мысли. Довольно быстро интерес исследователей переместился с современного состояния советской науки на поиски причин и истоков ее успехов. Не оставались без внимания и провалы: в 1960–1980-е годы самым востребованным сюжетом в зарубежной историографии советской науки являлся разгром генетики во времена лысенковщины. В этот период целый ряд историков, в основном американцев (Л. Грэхем,

Д. Джоравски, А. Вусинич и др.), занимались изучением как научных институций и философских споров в науке, так и биографий отдельных русских / советских ученых. В их распоряжении в то время находился довольно ограниченный круг источников, преимущественно опубликованных, что не мешало им, однако же, осуществить серьезный анализ взаимоотношений между политикой и наукой в СССР, сосредоточившись на роли «партии-государства» в поддержке и подавлении тех или иных научных идей<sup>1</sup>.

В 1990-е годы эти тенденции сохранялись: большое внимание уделялось изучению институтов и социального контекста, по-прежнему интерес зарубежных историков вызывали физика (и создание ядерного оружия) и биологические науки (поскольку именно в этой области происходили открытые идеологические столкновения)<sup>2</sup>. В социальной истории советской науки идеология и политика продолжали занимать центральное место. Однако произошли

---

<sup>1</sup> *Bailes K.E. Technology and society under Lenin and Stalin: Origins of the Soviet technical intelligentsia, 1917–1941.* – Princeton: Princeton univ. press, 1978; *id. Science and Russian culture in an age of revolutions: V.I. Vernadsky and his scientific school, 1863–1945.* – Bloomington: Indiana univ. press, 1990; *Enteen G.M. The Soviet scholar-bureaucrat: M.N. Pokrovskii and the society of Marxist historians.* – University Park: Pennsylvania state univ. press, 1978; *Graham L.R. The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party, 1927–1932.* – Princeton: Princeton univ. press, 1967; *id. Science, philosophy, and human behavior in the Soviet Union.* – N.Y.: Columbia univ. press, 1987; *Health and society in revolutionary Russia / Ed. by Solomon S.G., Hutchinson J.F.* – Bloomington: Indiana univ. press, 1990; *Technology, culture, and development: The experience of the Soviet model / Ed. by Scanlan J.P.* – Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1992; *Joravsky D. Soviet Marxism and natural science, 1917–1932.* – N.Y.: Columbia univ. press, 1961; *id. The Lysenko affair.* – Cambridge: Harvard univ. press, 1970; *id. Russian psychology: A critical history.* – Cambridge: Blackwell, 1989; *Todes D.P. Darwin without Malthus: The struggle for existence in Russian evolutionary thought.* – N.Y.: Oxford univ. press, 1989; *Vucinich A. Empire of knowledge: The Academy of Sciences of the USSR (1917–1970).* – Berkeley: Univ. of California press, 1984; *id. Darwin in Russian thought.* – Berkeley: Univ. of California press, 1988; и др.

<sup>2</sup> *Academia in upheaval: Origins, transfers, and transformations of the communist academic regime in Russia and East Central Europe / Ed. by David-Fox M., Péteri G.* – Westport: Bergin & Garvey, 2000; *David-Fox M. Revolution of the mind: Higher learning among the Bolsheviks, 1918–1929.* – Ithaca: Cornell univ. press, 1997; *Graham L.R. Science in Russia and the Soviet Union: A short history.* – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1993; *Holloway D. Stalin and the bomb: the Soviet Union and atomic energy, 1939–1956.* – New Haven: Yale univ. press, 1994; *Josephson P.R. Physics and politics in revolutionary Russia.* – Berkeley: Univ. of California press, 1991; *id. Red atom: Russia's nuclear power program from Stalin to today.* – N.Y.: W.H. Freeman, 2000; *Krementsov N.L. Stalinist science.* – Princeton: Princeton univ. press, 1997, и др.

и серьезные изменения, которые обычно связывают с окончанием холодной войны. Первое, на что обращается внимание (и что имеет решающее значение для социальных историков), – это открытие архивов и возможность свободно собирать «живой материал» путем проведения опросов и интервью. Второй момент (который особенно важен для американской русистики) – это сознательный отказ от поисков каких-либо «отклонений» советской науки от общей (т.е. западной) нормы, вызванных диктатом марксистско-ленинской идеологии, и встраивание ее в общемировой контекст<sup>1</sup>. Правда, этот момент не так существен для тех, кто не принадлежит к сообществу американских русистов или присоединился к нему относительно недавно. Речь идет прежде всего о наших соотечественниках Алексее Кожевникове и Николае Кременцове, работающих ныне в Канаде и опубликовавших серьезные обобщающие исследования по истории сталинской науки, в которых вольно или невольно делается акцент на советской «особости» (см. 15).

Фундаментальные изменения, которые произошли в мировой историографии в 1990-е годы и ознаменовали переход от социально-научной к культурологической исследовательской парадигме, проявились в зарубежных исследованиях российской советской науки только в новом тысячелетии. Происходит смена тематических приоритетов, социальная история уступает место культурно-историческому подходу, шире привлекаются литературные и визуальные источники. В последние годы все активнее начинает применяться и транснациональный подход, что имеет под собой серьезные основания, поскольку, как известно, настоящая наука не знает государственных границ и не может развиваться в изоляции<sup>2</sup>. Да и само сообщество историков российской / советской науки интернационализируется, причем языком научного общения становится английский. Здесь следует отметить ту роль, которую играют сегодня в мировой историографии советской науки наши соотечественники, так или иначе связанные с Институтом истории естествознания и техники РАН. Работы уже упоминавшихся А. Кожевникова и Н. Кременцова, а также С. Геровича, И. Сироткиной и других ис-

---

<sup>1</sup> *Graham L.R. What have we learned about science and technology from the Russian experience? – Stanford: Stanford univ. press, 1998.*

<sup>2</sup> *David-Fox M. The implications of transnationalism // Kritika. – Bloomington, 2011. – Vol. 12, N 4. – P. 885–904; Solomon S.G. Circulation of knowledge and the Russian locale // Ibid. – 2008. – Vol. 9, N 1. – P. 9–26.*

следователей серьезно изменили и обогатили эту область исследований (см.: 4; 19).

Современная зарубежная (преимущественно англоязычная) историография советской науки анализирует не только и не столько историю идей и институтов, сколько разные аспекты истории общества и государственной политики. Взятые в совокупности, эти исследования разворачивают перед нами широкую картину истории страны, идущей по пути научно-технического прогресса, в чем-то отставая от других стран, а в чем-то и обгоняя мировые тенденции. Герои работ зарубежных историков – ученые, мыслители, любители-энтузиасты, беззаботно преданные науке. Но в их характеристике есть одно упущение: почти нигде не говорится, что большинство из них – представители интеллигенции. Этот пробел попытался заполнить международный коллектив ученых, выпустивший содержательный сборник с соответствующим названием (13). Однако проблема заключается в том, что сам термин «интеллигенция» почти не фигурирует в современной русистике.

Другая терминологическая трудность, подчеркивающая различия между отечественной и зарубежной историографией, заключается в семантике слова «наука», которое в русском языке включает в себя все области знания. В английском же языке слово «science» относится только к естествознанию, в то время как науки гуманитарные обозначают словом «humanities». Наряду с названными существует и множество других терминологических различий и несовпадений, которые приходится преодолевать при перевложении англоязычных работ на русский язык.

\* \* \*

Настоящий сборник, подготовленный силами сотрудников ИНИОН РАН, имеет своей целью продемонстрировать наиболее характерные черты современной зарубежной историографии советской науки. Он организован по хронологическому принципу, хотя далеко не всегда его удавалось придерживаться. Тем не менее такая организация материала дала свои результаты, выяснив определенные особенности исторической периодизации.

Считается, что достижением зарубежной историографии последних лет явилось преодоление «разрыва 1917 г.» в истории России и подчеркивание преемственности в ее развитии. Это подтверждается и материалами, представленными в сборнике. Однако на практике выяснилось, что для исследований, посвященных ис-

тории советской науки, большую значимость приобретает другой хронологический «разрыв» – это культурная революция и сталинский «великий перелом» 1928–1931 гг. Вторым, вполне предсказуемым водоразделом, является начало десталинизации. В то же время преодолевается характерный для зарубежных исследований советского общества «предел» 1941–1945 гг., вызванный недостаточной изученностью Великой Отечественной войны. Целый ряд материалов сборника успешно перебрасывает «мостик» через этот историографический «провал», рассматривая проблемы марксистской историографии и этнографии (рефераты Ю.В. Дунаевой и Т.Б. Уваровой) и сталинской политики в области лесоводства (реферат О.В. Большаковой).

Открывается сборник рефератом И.К. Богомолова, в котором представлены главы из книги Алексея Кожевникова (15), опубликованные отдельно в виде статьи. В ней обрисовываются основные контуры реформы, которая привела к созданию в СССР так называемой «большой науки». Автор подчеркивает преемственную связь между дореволюционным и советским периодами и указывает на тот факт, что Первая мировая война явилась катализатором для формирования институтов и практик, задуманных в дореволюционный период и осуществленных большевиками, – идея, получившая в настоящее время широкое распространение в американской русистике.

Преодоление «разрыва 1917 г.» мы встретим и во многих других рефераатах. Фактически, внимание к дореволюционному периоду в зарубежной историографии науки столь велико, что сборник следовало бы назвать «Наука в России XX в.», хотя в ряде работ затрагивается и XIX век, а где-то отсчет ведется и с 1830 г. (11; 13). Такой подход, как уже говорилось, характерен сейчас для зарубежной русистики в целом, но в случае с историей науки он особенно оправдан, поскольку речь идет прежде всего об идеях, которые зарождались задолго до революции 1917 г. и продолжили свое дальнейшее существование, трансформируясь в соответствии с велениями времени и политическими реалиями.

Правомерность идеи «преемственности» убедительно подтверждается в сводном реферате, подготовленном О.В. Большаковой. Наглядно демонстрируется в нем и разница между социально-научным и культурно-историческим подходами к изучению близкой проблематики. В двух монографиях американских русистов, написанных с промежутком в десять лет, рассматривается публичное измерение науки в России конца XIX – первой трети XX в.

Но если в монографии историка Дж. Эндрюса, опирающейся на теорию модернизации, все внимание сосредоточено на институтах и политике популяризации науки, проводившейся большевиками с целью воспитания трудящихся масс, то литературовед А. Банерджи ставит перед собой совершенно иные задачи. Она исследует публичный дискурс чтобы выявить изменения в представлениях людей применительно к таким основополагающим категориям, как пространство, время, энергия. В центре ее внимания находится человек в кризисную эпоху «современности» (модерности, как принято сегодня обозначать этот период) и его взаимоотношения с научно-техническим прогрессом. Отказавшись от теории модернизации, основывавшейся на идее исторической эволюции, зарубежные ученые начинают исследовать само понятие прогресса, и в этом отношении изучение науки предлагает наиболее подходящий угол зрения на эту столь актуальную сегодня проблематику.

Для культурно-исторических исследований большое значение имеет эпоха 1880–1930-х годов, ассоциирующаяся с периодом «высокой модерности», что естественным образом размывает вводораздел 1917 г. Но и социальная история не менее органично преодолевает его, что обусловлено логикой развития самого предмета исследования – науки, которая в начале XX в. переживала в России, как и во всем мире, мощную трансформацию. В связи с крупнейшими мировыми открытиями возникали все новые научные дисциплины, происходило их постепенное разграничение и институционализация. Общей тенденцией двух первых десятилетий XX в. стало превращение науки из занятия частного в мощную индустрию со все расширяющейся инфраструктурой. Отличие советской науки, по общему признанию, заключалось в этот начальный период главным образом в том, что большевистское правительство своей поддержкой обеспечило организационный прорыв. Другие государства заимствовали достижения СССР и сумели их реализовать только после окончания Второй мировой войны.

В то же время – и представленные в сборнике материалы это демонстрируют – наиболее тесная связь с дореволюционной наукой наблюдалась главным образом в первые десять лет советской власти. Носители идей и научных практик – ученые, врачи, педагоги, общественные деятели дореволюционной России – активно работали в годы Гражданской войны и нэпа. Но с началом культурной революции государственная поддержка обернулась большими потерями для русской науки. Как показано в реферате Т.К. Сазоновой, в результате репрессий и организационных ре-

форм 1929–1931 гг. физически исчезло русское краеведение, которое начало возрождаться только через много лет, в годы хрущёвской «оттепели».

Судьба другой дисциплины – востоковедения – оказалась более счастливой, хотя и она претерпела целый ряд трансформаций, связанных с политикой Советского государства. В книге британской исследовательницы Веры Тольц (реферат подготовлен Т.Б. Уваровой) также большое внимание уделяется дореволюционному периоду развития востоковедения, однако ее основная идея лежит в другой плоскости, вполне согласуясь с транснациональным подходом к истории науки. Рассматривая труды российских / советских востоковедов, активно критиковавших своих западных коллег, автор последовательно доказывает, что они во многом предвосхитили идеи Э. Саида и постколониальных исследований, которые получили столь широкое распространение в настоящее время. Ту же мысль о «глобальной науке», но реализованную, правда, в другом ключе, мы встретим в статье А. Станциани о судьбе наследия А.В. Чаянова в 1960–1990-е годы (реферат Т.М. Фадеевой). А в сборнике, посвященном возникновению советской социолингвистики (реферат Ек. Лебедевой), указывается на актуальность идей Бахтина, Выготского и ученых их круга для современного языкоznания.

Хронологически примыкает к этим материалам аналитический обзор об истории советской медицины и других биосоциальных наук, подготовленный О.В. Большаковой. Основное внимание в нем уделяется первой трети XX в., хотя прослеживаются и дальнейшие тенденции. Центральное место в обзоре занимает революционный проект большевиков по созданию «нового советского человека» и, соответственно, дисциплинирующие практики государства, изучение которых ассоциируется с именем Мишеля Фуко.

Следует заметить, что в зарубежной русистике имеются и другие примеры истории отдельных научных дисциплин, в частности, советской антропологии, кибернетики, социологии (см. 2; 4; 21). Все они в той или иной мере отражают изменение тематических предпочтений, которое произошло в зарубежной русистике в новом тысячелетии. Все больше внимания исследователи начинают уделять гуманитарным дисциплинам и влиянию научных идей как на общество в целом, так и на политику государства. Материалы сборника демонстрируют особое значение публичного научного дискурса, сложившегося в начале XX в., который простирая свое влияние на многие десятилетия и «работал» в таких

разных сферах, как лесоводство (реферат О.В. Большаковой) и космонавтика (обзор, подготовленный М.М. Минцем). В обзоре нашли отражение современные тенденции в зарубежной историографии, отдающие предпочтение культурно-историческому, а не «технократическому» подходу к истории науки и техники.

Разрыв с предшествующей историографией особенно ярко продемонстрирован в реферате на книгу К. Браун, написанном З.Ю. Метлицкой. В отличие от традиционных трактовок сталинской «большой науки», в которых основное внимание уделяется партийному диктату и марксистско-ленинской идеологии (см., в частности, реферат О.В. Большаковой на книгу Э. Поллока), производство ядерного оружия рассматривается К. Браун в человеческом измерении. В монографии в полной мере реализован так называемый «антропологический поворот», который произошел в исторической науке в конце XX в. и привел к тому, что «единицей измерения» и точкой отсчета для исследователей стал человек, а не властные структуры или какие-либо социальные группы. Главной мишенью критики К. Браун, рассмотревшей историю двух «ядерных городов», в которых шло производство плутония, – советского и американского, является не столько научно-технический прогресс, сколько общество потребления.

Совершенно новое явление в зарубежной историографии советской науки – исследования хрущёвского и брежневского времени. Прежде этим периодом, который был слишком близок к современности, занимались преимущественно социологи и политологи, и только недавно к ним подключились историки. В материалах, подготовленных М.М. Минцем, освещаются интересные аспекты истории советской математики и моделей ее взаимодействия с государственными структурами, а также сюжеты, связанные с развитием вычислительной техники и информационных технологий. В них история науки предстает как история общества, достигшего такой стадии развития, на которой государство явно начинает выступать тормозом, а то и губителем передовых начинаний. Коллапс советской науки, наступивший после распада СССР, и попытки преодоления кризиса описываются в реферате С.В. Беспалова. Предложенные в реферируемой им монографии рецепты прямо противоположны тем началам, на которых строилась советская наука, отвечаая на кризис, разразившийся в годы Первой мировой войны и революции.

Настоящий сборник, естественно, не смог вместить в себя все многообразие современной зарубежной литературы по истории

науки. В нем не нашли отражения исследования советского литературоведения и философии, в том числе судеб марксизма (см. 8; 10–12). По разным соображениям в него не были включены и другие интересные работы. Некоторые из них уже переведены на русский язык, и потому их реферирование теряет смысл (7). Совсем недавно вышла монография Л. Грэхема (6), в которой ставится вопрос: «Сможет ли Россия конкурировать?», и даются прогнозы дальнейшего развития науки и техники в нашей стране. Сейчас она также переведена на русский язык и скоро будет доступна читателям. Предложенный в конце предисловия список литературы призван дополнить общую картину, хотя он и ограничен монографическими исследованиями. В то же время этот список вкупе с материалами самого сборника позволяет составить представление о тех лакунах, которые существуют в сегодняшней историографии советской науки. Практически отсутствуют, за небольшим исключением, исследования геологических и географических дисциплин, которые могли бы вывести на новые рубежи, явно недостаточное внимание уделяется советской исторической науке. Но тем не менее представленные в сборнике материалы, демонстрирующие серьезные успехи зарубежной историографии русской / советской науки, позволяют сделать вывод, что эта область русистики развивается стабильно и несомненно принесет еще немало научных плодов.

## Список литературы

1. The Bakhtin circle: In the master's absence / Ed. by Brandist C., Shepherd D., Tihanov G. – Manchester; N.Y.: Manchester univ. press; N.Y.: Distributed exclusively in the USA by Palgrave, 2004. – 286 p.
2. Bertrand F. L'anthropologie soviétique des années 20–30. Configuration d'une rupture. – Pressac: Presses univ. de Bordeaux, 2002. – 344 p.
3. Bonhomme B. Forests, peasants, and revolutionaries: Forest conservation and organization in Soviet Russia, 1917–1929. – Boulder: East European monographs; N.Y.: Distributed by Columbia univ. press, 2005. – 252 p.
4. Gerovitch S. From newspeak to cyberspeak: A history of Soviet cybernetics. – Cambridge: MIT press, 2002. – XIV, 369 p.
5. Gordin M.D. A well-ordered Thing: Dmitrii Mendeleev and the shadow of the Periodic table. – N.Y.: Basic books, 2004. – XX, 364 p.
6. Graham L.R. Lonely ideas: Can Russia compete? – Cambridge: MIT press, 2013. – XI, 204 p.

7. *Graham L.R., Kantor J.-M.* Naming infinity: A true story of religious mysticism and mathematical creativity. – Cambridge: Belknap press of Harvard univ. press, 2009. – X, 239 p.
8. Gustav Shpet's contribution to philosophy and cultural theory / Ed. by Tihanov G. – West Lafayette, Ind.: Purdue univ. press, 2009. – VII, 322 p.
9. *Hirsch F.* Empire of nations: Ethnographic knowledge & the making of the Soviet Union. – Ithaca: Cornell univ. press, 2005. – XVIII, 367 p.
10. A history of Russian literary theory and criticism: The Soviet age and beyond / Ed. by Dobrenko E., Tihanov G. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2011. – XVI, 406 p.
11. A history of Russian philosophy 1830–1930: Faith, reason, and the defense of human dignity / Ed. by Hamburg G.M., Poole R.A. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2010. – XV, 423 p.
12. In Marx's shadow: Knowledge, power, and intellectuals in Eastern Europe and Russia / Ed. by Bradatan C., Oushakine S.A. – Lanham: Lexington books, 2010. – VI, 296 p.
13. Intelligentsia science: The Russian century, 1860–1960 / Ed. by Gordin M.D., Hall K., Kojevnikov A. – Chicago: Univ. of Chicago press, 2008. – III, 294 p.
14. *Josephson P.R.* Would Trotsky wear a Bluetooth?: Technological utopianism under socialism, 1917–1989. – Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 2010. – IX, 342 p.
15. *Kozhevnikov A.B.* Stalin's great science: The times and adventures of Soviet physicists. – L.: Imperial college press; River Edge: Distributed by World Scientific, 2004. – XXIII, 360 p.
16. Lotman and cultural studies: Encounters and extensions / Ed. by Schönle A. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2006. – IX, 383 p.
17. *Roll-Hansen N.* The Lysenko effect: The politics of science. – Amherst, NY: Humanity books, 2004. – 353 p.
18. *Sherlock T.D.* Historical narratives in the Soviet Union and post-Soviet Russia: Destroying the settled past, creating an uncertain future. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2007. – VIII, 271 p.
19. *Sirotkina I.* Diagnosing literary genius: A cultural history of psychiatry in Russia, 1880–1930. – The Johns Hopkins univ. press, 2002. – IX, 269 p.
20. *Vucinich A.* Einstein and Soviet ideology. – Stanford: Stanford univ. press, 2001. – VIII, 291 p.
21. *Weinberg E.A.* Sociology in the Soviet Union and beyond: Social enquiry and social change. – Aldershot, Hants., England; Burlington, VT: Ashgate, 2004. – XVI, 199 p.
22. *Young G.M.* The Russian cosmists: The esoteric futurism of Nikolai Fedorov and his followers. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2012. – X, 280 p.

*О.В. Большакова*

**Кожевников А.**

**ВЕЛИКАЯ ВОЙНА, ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ  
И ИЗОБРЕТЕНИЕ «БОЛЬШОЙ НАУКИ»  
(Реферат)**

Ref. ad op.: Kojevnikov A. The Great War, the Russian Civil War, and the invention of big science // Science in context. – Tel Aviv, 2002. – Vol. 15, N 2. – P. 239–275.

В статье Алексея Кожевникова (ун-т Британской Колумбии, Канада) рассматриваются тенденции развития отечественной науки в 1914–1922 гг. и зарождение советского варианта «большой науки». Автор доказывает, что трансформация российской науки, которая привела к формированию советской модели организации исследований, началась в годы Первой мировой войны и явилась следствием кризисных явлений, поставивших перед научным сообществом новые задачи. Для их решения предполагалось перестроить всю инфраструктуру российской науки, отделить исследование от преподавания и создать сеть специализированных институтов. Эти планы осуществлялись правительством большевиков в годы Гражданской войны, и к 1921 г. были заложены основы новой системы, по своим сущностным характеристикам подобной тому феномену, который позднее возник в США и получил название «большой науки» (с. 239).

Эпоха войн и революций, пишет автор, вызвала коренные, подчас драматические изменения во всех сферах жизни России, и наука не была исключением. Русское научное сообщество практически сразу после начала Первой мировой войны ощутило на себе ее последствия. Разрушение международных научных связей с Германией сопровождалось и значительным ухудшением взаимодействия со всей европейской научной мыслью. Между тем уже

начальный период войны ставил перед русской наукой новые, широкомасштабные задачи. В первую очередь необходимо было в короткий срок ликвидировать отставание от Германии в области развития вооружений, боеприпасов, взрывчатых веществ. Однако, по мнению автора, в предвоенный период «уровень экономической, промышленной, научной зависимости страны от Германии был тотальным и граничил с колониальным» (там же). Как гражданская, так и военная промышленность во многом зависели от иностранных инвестиций, отдавая безусловный приоритет зарубежным «ноу-хау» и зачастую копируя иностранные образцы вооружений и техники (с. 240). В условиях потери основных рынков с началом войны русское правительство пошло на закупку вооружений в Японии и США, несмотря на неизбежные сложности при транспортировке, дороговизну и недостаточность поставок. От этих закупок отказались только в конце 1915 г., когда в правительстве и высшем генералитете стали признавать невозможность вести тотальную войну с мощным германским блоком без поддержки отечественной промышленности и науки (там же). Перемены в отношении власти к науке сопровождались переменами в самом научном сообществе. «Мягкое, но обычно высокомерное пренебрежение» прикладными исследованиями сменилось признанием необходимости закрепления теоретических исследований практическими результатами (с. 241).

Ярким примером использования достижений русской науки в практических целях были исследования В.Н. Ипатьева и Н.Д. Зелинского в области химических вооружений и химзащиты. Однако, несмотря на «исключительную своевременность» изобретений, их массовое внедрение в войска было организовано только в 1917 г. Сами русские ученые в полной мере осознавали, что «степень вовлечения русских ученых в работу для фронта едва ли может быть сравнима с вовлеченностью их германских, британских и французских коллег» (с. 247). Так, В.И. Вернадский во время войны отмечал, что научная инфраструктура в России «была совершенно недостаточной для решения предстоящей великой задачи (победы в войне. – *Прим. реф.*) и необходимы кардинальные изменения» (цит. по: с. 252). В годы войны был поставлен вопрос о «координации научной работы», более эффективного использования научно-производственного потенциала страны. Одним из первых шагов стало создание в феврале 1915 г. Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС). При этом, по мнению В.И. Вернадского, глубокие институциональные изменения (соз-

дание сети хорошо оснащенных научных лабораторий, институтов и музеев) в полной мере должны были быть реализованы только после войны (с. 253).

Одновременно в научной среде набирали популярность предложения более решительного реформирования отечественной науки. В частности, К.А. Тимирязев еще в 1911 г. высказывался за «освобождение» ученых от преподавательских функций и признание их деятельности отдельной профессией. По его мнению, в центре научно-исследовательского процесса должен стоять институт, «спасительное убежище» для ученых, стремящихся избавиться от излишней государственной опеки и сконцентрироваться исключительно на исследованиях (цит. по: с. 249). В дальнейшем эта идея нашла отклик в научном сообществе, но развивалась в двух разных направлениях. Часть профессуры из Московского университета высказывалась в пользу неправительственной поддержки исследований путем привлечения средств промышленников и купцов (там же). Созданное в 1912 г. Общество Московского научного института планировало на частные средства основать четыре института в области физики, биологии, химии и социальных наук. К 1917 г. удалось открыть только институты физики и биологии, однако они позднее стали базой для советских институтов. Другое направление представляли ученые из Петербургской академии наук, имевшие «более тесные связи – личные и прочие – с государственной бюрократией, и предпочитаемым ими источником научного патронажа было правительство». Довоенные проекты Академии наук (как, например, Ломоносовский институт для исследований в области физики, химии и биологии) получили Высочайшее одобрение, однако война вынудила отложить их реализацию (с. 250).

Идея научных институтов как самостоятельных учреждений получила свое продолжение уже после революции и окончания Гражданской войны. Новые условия ставили перед отечественной наукой новые задачи. Академик А.Е. Ферсман главными из них считал восстановление контактов с зарубежной наукой и создание «новых коллективных форм» организации науки – «государственную сеть научных исследовательских институтов» (с. 268). Позиция А.Е. Ферсмана фактически была официальным признанием государственного института как центрального звена в нарождавшейся советской научной системе. Немаловажным было и то, как сами ученые относились к глубоким институциональным изменениям, сопровождавшим драматичный период истории страны.

Встретив в основном враждебно Октябрьский переворот, столичная профессура была при этом готова на продолжение исследований в обмен на политическую лояльность. Так, с советским руководством с 1918 г. сотрудничали не только либералы К.А. Тимирязев и В.И. Вернадский, но и, к примеру, монархист В.Н. Ипатьев. Последний враждебно встретил даже Февральскую революцию, но в то же время считал, что «военный не имеет права останавливать свою работу во время войны» и призывал коллег последовать своему примеру (с. 255). Готовность части профессуры идти на компромиссы сопровождалась прагматичным подходом новой власти к проблеме развития науки. С одной стороны, обособление ученых от университетов, создание их собственных учреждений усложняло задачу борьбы с «фрондерством». С другой стороны, большевики приветствовали идею организации научных институтов, так как это «помогало им привлечь ученых в качестве сотрудников и одновременно найти консенсус в отношениях с профессорами» (с. 254). Наиболее успешно закончились переговоры с руководством Академии наук, которая «испытывала к большевикам не меньшую враждебность, чем представители университетов», но у которой была «гораздо более сильная традиция политического повиновения и привилегированной близости к самодержавной власти» (с. 256). Основой для компромисса стало «признание и уважение» большевиками академической самостоятельности и самоуправления, стабильное финансирование Академии и усиление ее научно-исследовательского потенциала. В обмен Академия наук обязывалась работать над тематикой, отвечающей нуждам государственного строительства.

Созданию новых институтов способствовали также ведомственные конфликты между комиссариатами. Стремление монополизировать те или иные стороны общественной жизни приводило к организации обособленной в рамках отдельного ведомства «НИОКР-империи» с большим количеством институтов. Только за годы Гражданской войны было создано от 40 до 70 исследовательских институтов. Как отмечает автор, большинство из них «возникло в результате предложений или активности, проявленных еще в годы Первой мировой войны» (с. 257).

Таким образом, предложенная русскими учеными накануне Первой мировой войны идея научно-исследовательских институтов была одобрена большевиками, так как она «полностью совпадала с их собственными бюрократическими и политическими интересами и в итоге стала доминирующей институциональной

формой советской науки» (с. 259). Успеху такой формы организации в значительной степени способствовал « дух времени»: сочетание революционного утопизма с характерным для новой власти «кутилитаризмом» предопределяло постановку совершенно новых, возвышенных, подчас невыполнимых задач. Решение их требовало новой, более крупной организации научных учреждений. Междисциплинарный характер многих исследований в 1920-е годы предопределял, в свою очередь, создание крупных исследовательских комплексов, включавших в себя не только лаборатории, но и тесно связанные с ними «экспериментальные фабрики или производственные отделы» (с. 269). Именно этот «симбиоз «чистой» науки, технологии и техники» заложил основу «большой науки», «крайним примером» которой служила модель, созданная в СССР в 1920–1930-е годы (с. 270).

Дискуссионным остается вопрос о западном влиянии на зарождавшуюся советскую науку. По мнению автора, русские учёные «чувствовали и разделяли» общемировые тенденции, однако хроническая изоляция страны на протяжении восьми лет привела к своеобразной, «идиосинкразической» интерпретации ими мирового научного опыта. В результате отечественной наукой было предложено то, что «в действительности было новой системой исследования и развития». Автор отмечает, что некоторые характерные черты этой «социалистической» модели «большой науки» («гигантомания, государственная поддержка, культ науки в обществе, слияние науки и техники») позднее вполне прижились на западной почве и сыграли большую роль в организации науки во всем мире после Второй мировой войны (там же).

*И.К. Богомолов*

**ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ  
И НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА В РОССИИ / СССР  
(Сводный реферат)**

**1. Эндрюс Дж.Т. Науку – массам: Большевистское государство, публичная наука и воображение в советской России, 1917–1934.**

Ref. ad op.: Andrews J.T. Science for the masses: The Bolshevik state, public science, and the popular imagination in Soviet Russia, 1917–1934. – College Station: Texas A&M univ. press, 2003. – XII, 234 p.

**2. Банерджи А. Мы современные люди: Научная фантастика и создание российской модерности.**

Ref. ad op.: Banerjee A. We modern people: Science fiction and the making of Russian modernity. – Middletown: Wesleyan univ. press, 2012. – VIII, 206 p.

Публичная сторона науки как социального и культурного института достаточно многогранна. В монографиях двух американских русистов с разных методологических позиций рассматривается такая ее составляющая, как популяризация науки, неразрывно связанная с литературным жанром научной фантастики.

В монографии Дж. Эндрюса (1), написанной в русле социальной истории культуры, исследуется популяризация науки в СССР в ее взаимосвязи с дореволюционными практиками. Автор подчеркивает тот факт, что деятельность русских «интеллектуалов-популяризаторов» естественным образом продолжилась и после 1917 г., поскольку их взгляды были близки и во многом пересекались со взглядами большевиков. И те и другие считали научное просвещение той силой, которая преобразует русскую культуру, и стремились нести науку в массы, сделав ее публичным достоянием. Однако программа «дореволюционных интеллектуалов», стремившихся к созданию «публичного пространства для обсуждения роли

науки в обществе», расходилась с программой большевиков, нацеленной на воспитание трудящихся масс в духе материализма и мобилизацию их для строительства социализма. Анализируя «научный публичный дискурс», Эндрюс отмечает, что популяризаторы науки, которые придерживались самых разных идеологических и профессиональных взглядов, «поддерживали широкую народную гражданскую культуру». Во многом благодаря их активной деятельности культуру первых лет советской власти можно охарактеризовать как «научно-популярную» по своей сути (1, с. 6). Изучение популяризации науки, пишет автор, позволяет рассмотреть многие аспекты модернизационной парадигмы революционного правительства: промышленность и город *vs* отсталая деревня; наука *vs* религиозные предрассудки; футурологические концепции *vs* «старый мир» (1, с. 7).

В первых двух главах книги, которые составляют ее первую часть, рассматривается развитие движения по популяризации науки в дореволюционный период, что, по мнению автора, имело решающее значение для советского времени. В центре внимания находятся научные общества и издательская деятельность. К середине XIX в., пишет Эндрюс, развитие музеев естественной истории и научных обществ в России в корне изменило характер научной популяризации. Инструментами для распространения научных идей среди широкой публики теперь становятся лекции и выставки, которые первоначально организовывались такими крупными столичными музеями, как Политехнический, а в начале XX в. начинают проводиться и в провинции. К этому времени популяризация научных знаний становится важным направлением деятельности многочисленных естественно-исторических и других обществ, как старых (например, Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии), так и новых, возникающих в провинциальных городах (1, с. 28–29).

Эндрюс отмечает, что в начале XX в. рынок начинает играть все большую роль в производстве научно-популярных текстов. Читатели выказывают интерес к таким темам, как происхождение Земли, эволюция человека, астрономия, и петербургские и московские издательства пытаются удовлетворить возникший спрос. В результате появляются научно-популярные журналы – дешевый и доступный источник научной информации.

По словам автора, добровольные общества, популяризаторы науки и педагоги принимали активное участие в процессе расширения публичной сферы в России, «создавая пространство для

взаимодействия самых разных социальных групп, как неспециалистов, так и научных элит». После революции 1917 г. с возникновением «новой большевистской бюрократии» научные общества, прежде полагавшиеся не столько на скромное финансирование Министерства просвещения, сколько на помочь своих членов и частных лиц, обращаются за поддержкой к «советскому светскому государству». Они значительно расширяют свою деятельность по научному просвещению, в основе которой лежал «русский идеал общественного долга и гражданственности» (1, с. 35).

Вторая часть монографии посвящена периоду 1917–1927 гг. В ней рассматриваются взаимоотношения популяризаторов науки с «новым советским патроном» – Научным отделом Наркомпроса, который в 1921 г. был преобразован в Главное управление научными, научно-художественными и музеиними учреждениями (Главнауку). Автор отмечает, что дореволюционные ученые быстро стали «играть в административные игры» и оказались не менее изобретательны в лоббировании своих интересов, чем молодые коммунисты. Они с успехом использовали новый язык и советскую риторику для того, чтобы убеждать Наркомпрос в своей полезности для дела научного просвещения народа. По мнению автора, на протяжении 1920-х годов, вплоть до начала культурной революции, научным обществам удавалось успешно удерживать государство от вторжения в их образовательную деятельность. Во многом этому способствовало руководство Главнауки, в первую очередь Ф.Н. Петров, много раз спасавший старых специалистов и дореволюционные научные общества от нападок Научного отдела ВСНХ и даже от НКВД. По словам автора, Петров являлся одним из самых влиятельных сторонников идеи о том, что наука должна играть ключевую роль в формировании новой советской культуры (1, с. 39).

Централизация и реорганизация дореволюционных культурных институтов в 1920-е годы, пишет автор, служит типичным примером постепенного процесса бюрократизации, который со сворачиванием нэпа только усилился. По словам автора, бюрократизация культуры являлась не просто применением советских методов контроля: на практике она означала, что представители дореволюционной культурной элиты (особенно в провинциях) вступали в упорную борьбу с новым государством (1, с. 59).

Годы нэпа были отмечены процветанием научной печати, в первую очередь научно-популярных журналов. В этот период целый ряд влиятельных научно-популярных журналов выходили в частных и кооперативных издательствах, которые активно занима-

лись и книгоизданием. Кооперативное издательство «Сеятель», например, выпускало популярные книги по математике, физике, астрономии, в том числе опубликовало «Основы теории относительности» Альберта Эйнштейна и «Полет на Луну» Я.И. Перельмана, в которой он популяризовал теории Циолковского. В то же время и Главнаука, и Наркомпрос во главе с А.В. Луначарским всячески поддерживали научно-популярные публикации Госиздата для рабочих. В период нэпа создатели и издатели научно-популярных текстов чувствовали себя относительно свободными и во многом продолжали дореволюционные традиции. Но уже тогда возникает конфликт между дореволюционными популяризаторами науки – такими, как Н.А. Рубакин, разработавший особую методику написания научных текстов для широкой публики, – и марксистами, которые настаивали на обязательном введении в научно-популярные тексты идеологического компонента.

Характеризуя читательскую аудиторию, автор отмечает, что она состояла в основном из жителей городов, которые выказывали огромный интерес не только к темам, имевшим практическое значение для повседневной жизни, но и к таким волнующим сюжетам, как географические открытия и полеты в космос. Они стремились понять окружающий мир и Вселенную (1, с. 77). Особенно популярной еще с дореволюционных времен была тема воздухоплавания. В советское время авиация и все связанное с ней стали повальным увлечением во многом благодаря деятельности научных обществ и издаваемых ими журналов. Путешествия, романтизированный интерес к которым удовлетворяли до революции такие журналы, как «Вокруг света» или более специальная «Природа», издававшаяся Академией наук, в 1920-е годы обретают более утилитарный характер. В научно-популярных публикациях начинают подчеркивать важность исследования минеральных ресурсов СССР, и здесь большую роль сыграли работы А.Е. Ферсмана и В.В. Обручева о геологии и минералогии. Автор упоминает и о научно-фантастических романах Обручева («Земля Санникова»), которые должны были побуждать советскую молодежь к новым открытиям в самых неисследованных и недоступных районах обширной Страны Советов (1, с. 94–95).

Но центральной темой научно-популярной печати 1920-х годов являлось создание нового, современного мира, построенного на научных основаниях. Его символами были машина и современные технические достижения. С точки зрения большевиков, пишет автор, популяризация науки должна была включать в себя техни-

ческое просвещение масс, что должно было привести к трансформации сознания рабочего человека, к внедрению рационального мышления. Всё, что олицетворяло город – современные технологии, образование и рациональное планирование, – следовало привнести в деревню. И ленинский план электрификации страны – «символ технического прогресса и составная часть рационального научного общества – символизировал также и свет знаний» (1, с. 96). В этом контексте особую значимость имела борьба науки и религии, которая признавалась одной из важнейших функций советских научно-популяризаторских институций. От изданий требовалось активное утверждение материалистического мировоззрения; человек должен был выступать в роли хозяина природы, а не «венца творенья». Главным инструментом в борьбе с религиозным мировоззрением стала теория эволюции. Страницы научно-популярных изданий пестрели дарвиновскими терминами «естественный отбор» и «борьба за существование», которые быстро вошли в повседневный обиход (1, с. 96–97).

В научно-популярной литературе 1920-х годов просвещение масс ассоциировалось с рационализацией производства в промышленности и сельском хозяйстве. Новейшие достижения медицины и микробиологии также использовались для нужд научного просвещения, поскольку санитария и гигиена становятся важнейшими характеристиками современного индустриального общества. Наука могла трансформировать советское общество, создать новые нормы поведения и трудовой деятельности как базис для повышения производительности. Характерно, пишет Эндрюс, что новейшие достижения западной науки и техники, так же как и научной организации труда, широко освещались в советской прессе 1920-х годов. Америка представляла в них как символ преобразующей силы технологий (1, с. 79). Акцент на технике усилился в годы культурной революции, которая, по словам автора, стала «трагедией для русской науки» и ее популяризаторов, сумевших пережить все трудности первых лет советской власти (1, с. 127).

Популяризации науки в годы культурной революции и сталинского «великого перелома» 1928–1934 гг. посвящена третья часть монографии. В ней отмечается, что разгрому подверглась Академия наук, были арестованы или уволены видные ученые, что вело к уничтожению целых научных школ. Сильно пострадала и техническая интеллигенция, особенно в результате шахтинского дела. «Новое поколение» молодых специалистов и просто самоучек, давно критиковавших «буржуазных приверженцев чистой науки»

с марксистских позиций, получило, наконец, серьезный перевес. В деле популяризации науки идея «практики» начинает преобладать над оторванной от жизни «теорией», что означало победу сталинского утилитаризма, который восторжествовал в 1930-е годы.

В книге прослеживается изменение тематических предпочтений в научно-популярных журналах 1928–1931 гг., которые в ускоренном порядке отреагировали на призывы Сталина «овладеть техникой». В годы первой пятилетки его лозунг «Техника в период реконструкции решает всё» определил смену редакционной политики целого ряда научно-популярных журналов. Автор отмечает, что при поддержке Наркомпроса и Агитпропа молодые коммунисты сумели проникнуть в редакционные советы многих ведущих изданий, где прошли серьезные чистки. В результате такие журналы, как «Мироведение», отошли от решения задач широкого научного просвещения, сосредоточившись на узкопрактических вопросах, а некоторые из них сменили и название – например, выходивший с 1889 г. журнал «Природа и люди» стал называться «Революция и природа». Все больше места в научно-популярной прессе начали отводить советским техническим достижениям и изобретениям. Это были первые признаки того, что столь необходимые для успешного развития науки и техники международные связи вскоре будут разрушены. И действительно, замечает Эндрюс, к середине 1930-х годов сообщения о западных научно-технических достижениях (и тем более их беспристрастный анализ) на долго исчезают со страниц советской печати (1, с. 134).

В монографии рассматривается деятельность созданного в 1927 г. нового добровольного общества – Всесоюзной ассоциации работников науки и техники для содействия социалистическому строительству в СССР (ВАРНИТСО), которое с самого начала использовало в своей деятельности революционную риторику классовой борьбы с внешним и внутренним врагом. И хотя в работе общества принимали участие многие видные ученые, это не оградило старые иуважаемые научные общества (как, например, Московское общество испытателей природы) от нападок новой организации. Автор пишет, что «ВАРНИТСО подхватило призыв сверху и умело его использовало для укрепления своих позиций в правительстве и усиления риторических стратегий партии» (1, с. 143). Такого же рода конфликты происходили и в провинции. В результате, в ходе осуществлявшейся тогда реорганизации науки, к началу 1930-х годов сообщества дореволюционных популяризаторов науки на местах просто «иссыкли», по словам Эндрюса. Они

не могли служить «приводными ремнями» для пропагандистских кампаний партии, не могли они – «буржуазные пережитки прошлого» – и заниматься общественной деятельностью в прежнем духе (1, с. 149).

Последняя глава монографии посвящена техническим обществам, прежде всего обществу «Технику – массам», которое было учреждено в 1927 г. с целью содействовать развитию технической грамотности широких масс трудящихся и приобщению их к техническому творчеству. Ячейки общества работали на фабриках и заводах, в учреждениях и учебных заведениях. В 1932 г. общество изменило свое название («За овладение техникой») и значительно усилило пропагандистский элемент в своей работе. Однако, как показано в книге, рабочие резко критиковали демонстрационные фильмы и лекции, которые лишь превозносили успехи советской промышленности, за их бесполезность. Рабочим требовалось конкретные знания, и в этом отношении их запросы вполне совпадали с утилитаристским направлением сталинской популяризации технических достижений (1, с. 168–169).

После 1928 г., указывается в заключении, в политике популяризации науки сталинизм поставил во главу угла экономические вопросы, необходимые для быстрой индустриализации страны, выбросив за борт научный компонент, который был интересен широкой публике. Советские читатели, так же как и европейские, с удовольствием читали новости о западной технике, авиаперелетах, астрономии и экспедициях в дальние страны. Отлучение их от этой информации привело к разобщению советской читающей публики с Западом. В то же время, пишет Эндрюс, популяризация науки продолжала работать на поддержку проекта модернизации, который начал осуществляться после революции. Но осуществлялся он уже в новых культурных условиях сталинизма, который характеризовался парадоксальностью, сочетая в себе отсталость, близорукость и утилитаризм с мечтами о прекрасном будущем (1, с. 176).

В монографии Аниндиты Банерджи (2) используется культурно-исторический подход. В центре внимания находится научная фантастика периода 1880-х – начала 1920-х годов, которая рассматривается в общем культурном и интеллектуальном контексте эпохи. В задачи исследования входит выявление комплекса представлений о научно-техническом прогрессе и в более широком плане – проследить процесс формирования образа «современности» (modernity) в России конца XIX – первой четверти XX в.

«Модерность»<sup>1</sup> автор понимает как тип отношений, а не период или стадию развития того или иного государства.

Источниками для исследования послужили не только литературные произведения авторов, которые «были канонизированы в литературоведении как предшественники советской фантастики спутниковой эры», – Валерия Брюсова, Александра Богданова, Евгения Замятина. Банерджи использует большой массив текстов, включающий в себя как художественные, так и научно-популярные статьи и заметки, научные исследования и философские трактаты, а также визуальные источники. Такой угол зрения обусловлен прежде всего тем обстоятельством, что в изучаемый период не было четкого разграничения между фантастикой и научно-популярной журналистикой, так же как и между «серьезной» и «визионерской» наукой. Банерджи указывает и на тесную связь русской научной фантастики первых десятилетий XX в. с «высоким модернизмом» и когнитивными экспериментами революционного авангарда. По ее словам, научная фантастика функционирует в этом обширном море текстов и дискурсов как узловой пункт, в котором и происходит синтез представлений о последних достижениях науки и техники. Здесь создаются новые термины и понятия, которые питают общественное мнение и публичную политику.

Жанр научной фантастики процветал в России и получил свое название задолго до того, как в англоязычном мире впервые в 1926 г. прозвучал термин *science fiction*, пишет автор. Причем столь широкое распространение научная фантастика получила в стране, сильно отстававшей в научно-техническом развитии от Запада, но в то же время, по мнению Банерджи, значительно опередившей Запад в размышлениях о прогрессе (2, с. 1–2). Как пишет автор, намного раньше своих западных аналогов русская научная фантастика превратилась из «новинки массовой культуры» в неотъемлемую часть интеллектуальных дебатов о том, что собой представляют реалии наступающего XX века и как следует в них жить. Рассматривая «сложную динамику взаимоотношений между наукой, техникой, работой воображения и представлениями о том, что значит быть современным», Банерджи указывает на то обстоятельство, что научная фантастика не только рассказывала о современности, но и создавала ее. Ведь и сегодня, пишет она, достижения

---

<sup>1</sup> Термин применяется в отечественной науке для описания изменений, которые отличали мир Нового времени от времен Античности и Средневековья. – *Прим. реф.*

науки и техники являются главной движущей силой трансформаций, переживаемых нашим обществом, и научная фантастика снабжает нас языком для осмыслиения современного мира. «Симулякр» и «киборг» вошли в нашу жизнь из научной фантастики и дали материал для построения новых концепций (2, с. 3–4).

По словам Банерджи, Россия, будучи одновременно составной частью Запада и его удаленным «Другим», бросает вызов традиционной классификации. Она одновременно и азиатская, и европейская, передовое научно-техническое мышление соседствовало в ней с промышленной отсталостью, а развитая футурологическая идеология – с домодерными и антимодерными аспектами культуры. И новый литературный жанр научной фантастики стал не только «компенсаторным инструментом» в стране, неудовлетворенной своим уровнем модернизации, но и механизмом для создания уникального русского варианта «современности» – модерности. В отличие от евро-американской научной фантастики, русская несла в себе большой дидактический заряд. Будучи нерасторжимо связанной с популяризацией достижений научно-технической революции на Западе, она нацеливала на построение «альтернативной формы развития и прогресса», которая была бы «более современной», чем западная (2, с. 10).

В России, пишет автор, огромная притягательность научной фантастики заключалась в ее свойстве заменять существующий мир реальной или осознаваемой отсталости миром воображаемым, который «сделан» при помощи науки и техники, однако освобожден от западных парадигм развития и прогресса. Когда литература и искусство, играя на глубинных желаниях, страхах и надеждах аудитории, одновременно дает ей возможность воспринимать мир по-новому и снабжает необходимыми для этого навыками и представлениями, это называется, по определению А. Грамши, «культурной педагогикой». В случае альтернативной модерности культурная педагогика обретает еще одну очень важную функцию. В ситуации, когда люди хорошо знакомы с презентациями «современности» (модерности), но не имеют актуального опыта жизни в ней, презентации быстро обретают свойства реальности. Научная фантастика в России делала современность реальной для удивительно широкой и разнообразной читательской аудитории. Таким образом, подытоживает автор, русская научная фантастика заставляет нас пересмотреть роль литературной презентации в конструировании альтернативной модерности (2, с. 12).

Подчеркивая отсутствие «революционного разрыва 1917 г.» в истории русской научной фантастики, Банерджи использует не хронологический, а тематический подход, и распределяет исследуемый материал по четырем главам, в которых последовательно освещаются такие темы, как завоевание пространства, победа над временем, вырабатывание энергии и создание нового человека. Она ставит под вопрос общепринятое мнение, что «советскую модель техно-научной утопии» породила Октябрьская революция (2, с. 12).

Завоевание пространства анализируется в книге в связи с проблемой русской национальной идентичности, которая, однако же, получает новое освещение в контексте «транспортной революции» и характерного для эпохи модерности «расширения горизонтов». По словам автора, иллюстрированные журналы конца XIX – начала XX в., прежде всего «Природа и люди» и «Вокруг света», вполне на равных выступали с известными и приблизительно тогда же возникшими «National geographic» и «l'Annales de geographie» и выполняли ту же миссию: рассказывая о путешествиях и экспедициях, они формировали современное представление о пространстве. Новизна этих журналов заключалась в том, что они ориентировались на горизонты, далеко превосходящие повседневные знания и опыт своих читателей, и служили своего рода воротами в мир иной и экзотический. Причем предлагаемые читателю живые картины дальних стран журналы прямо связывали с современными научно-техническими средствами освоения пространства, включая новые виды транспорта, измерительные приборы и картографирование. Иллюстрированные научно-популярные журналы приглашали членов своего «воображаемого сообщества» путешественников и первоходцев представить себе место и роль России в этом «дивном новом мире» XX века (2, с. 18–19).

Разворачивая перед читателем картины бескрайних степей, прорезанных Транссибирской железнодорожной магистралью, небесные выси стратосферы, наблюдаемые с аэроплана, и неизмеримые глубины космоса, которые бороздят гипотетические корабли, журналы избегали останавливать свое внимание на таких, казалось бы, очевидных символах современности, как крупные города Европейской России, где легко можно было заметить конкретные признаки научно-технического прогресса. Все внимание сосредоточивалось на окраинах империи, которые, как пишет автор, предоставляли материал для строительства воображаемого сообщества нации в центральной части страны. Читатель мог легко вообразить

империю как «третье царство между дихотомией Запад – Восток», где «Востоком» были бескрайние просторы Сибири (2, с. 22).

Второй вектор в «завоевании пространства» русским читателем начала XX в. направлен вертикально вверх и связан с развитием воздухоплавания. А. Банерджи указывает на чисто русскую связь научного с духовным и поэтическим в романтизированной фигуре авиатора, которая вдохновляла и символистов, и футуристов, навевая утопические мечты об объединении всего мира благодаря авиаперелетам. Однако, как показано в монографии, оптимистические мечты соседствовали с совершенно антиутопическими взглядами других русских авторов. Многие из них, вслед за Г. Уэллсом, усматривали в завоевании воздуха семена глобального конфликта, что нашло свое подтверждение, когда разразилась Первая мировая война.

Наконец, третий вектор исследования категории пространства обращен в открытый космос, о котором человечество в тот период могло только мечтать и теоретизировать. В области астрономии, пишет автор, Россия была на равных с Европой и Америкой: правительство активно поддерживало развитие науки в этом направлении, а публика с огромным интересом следила за новостями в прессе, где публиковались фотографии марсианских каналов и поверхности Луны (2, с. 52). И именно в этой области фактически сливались воедино «научный и литературный дискурсы, метафизические и механические аспекты космического полета и голоса ученого, писателя и пророка», – пишет автор, имея в виду прежде всего К. Циолковского (2, с. 55). Она отмечает, что идеи Циолковского, который предсказывал, что человечество покинет Землю и поселится в космосе, в концентрированном виде были представлены в беллетристической форме, в частности в его трилогии «Вне Земли», опубликованной в 1916 г. Заметно отличались от интерпретаций космиста Н. Федорова и К. Циолковского романы о путешествиях на Марс – «Красная звезда» (1908) революционера-большевика А. Богданова и «Аэлита» А. Толстого (1923), где идеология беспредельной свободы освоения космического пространства «загоняется в карцер революционной утопии» (2, с. 58).

Во второй главе исследуется еще один популярный троп научной фантастики – время. Хотя в книге и упоминается «Машина времени» Г. Уэллса, проблема путешествия во времени почти не затрагивается автором. В фокусе внимания находится конфликт между идеей времени как «жизненного расписания», столь ярко описанной в романе Замятиня «Мы», и временем частного человека.

Автор обращает внимание на то, какую огромную роль в изменении восприятия времени (и его невероятного ускорения в современную эпоху) сыграла революция в области транспорта и коммуникаций. Изобретение велосипеда и его «продвинутой версии» – автомобиля, которые не только трансформировали сам ритм повседневной городской жизни, но и стали символами нового динамичного века, породило, с одной стороны, ощущение полного освобождения человека от диктата времени. В статье о будущем Санкт-Петербурга, опубликованной в журнале «Природа и люди» в 1909 г., писатель-фантаст П. Крымский описывает движущиеся тротуары, фуникулеры, эскалаторы и надземные железные дороги в городе, где «больше никто не ходит пешком» (2, с. 61).

Но вместе с тем, пишет автор, в конце XIX в., во многом благодаря «технологическим чудесам», прогресс впервые стал отождествляться с категорией времени, неразрывно связанной с ускорением и эффективностью. Все большее распространение получает критика «темной стороны» модерности, которая выливалась в форму утраты веры в индустриальную цивилизацию, в общество, отравленное гонкой современной жизни и химерой материального прогресса. Возникает ностальгия по прошлому, когда время текло неспешно, от сезона к сезону, от праздника к празднику, и отсчитывалось ударами церковного колокола. Банерджи отмечает, что новейшие тенденции стандартизации, механизации и эффективности, наиболее полным воплощением которых являлся конвейер, почти не встречали теплого приема в российской прессе, где постоянно подчеркивалась бесчеловечность системы, в которой время частное приносится в жертву требованиям максимальной производительности.

Однако новые научно-технические достижения дали возможность выйти за пределы двух полярно противоположных реакций на «современность». Изобретение фонографа, радио, граммофона, а затем и кинематографа ставило под вопрос основополагающее восприятие времени. Фактически, пишет автор, они материализовали время и разрушили барьер между прошлым, настоящим и будущим. Люди получили возможность услышать голоса умерших и увидеть их движущееся изображение на пленке, причем замедленная или ускоренная съемка также создавала соответствующие эффекты релятивизации. Но что по-настоящему поставило под удар объективистские категории времени и декартова «Бога-часовщика», так это теория относительности, предложенная Альбертом Эйн-

штейном в 1905 г. и назвавшая время «четвертым измерением пространства» (2, с. 72–73).

В результате вместо того, чтобы одобрять современную гонку либо идеализировать прошлое, научная фантастика довольно быстро начала вырабатывать средства для приспособления местных и частных ритмов жизни к «публичному маршу прогресса» (2, с. 71). Отталкиваясь от философских работ А. Бергсона и Ж. Сореля, автор рассматривает эксперименты футуристов и останавливается на текстах А. Богданова, уделив особое внимание его роману «Красная звезда». Она приходит к заключению, что «необычная гармонизация публичного и частного времени» в идеальном марсианском обществе у Богданова отражает, с одной стороны, поглощенность Бергсона и других философов рубежа веков темой тирании «публичных часов», с другой – «ужас русского мечтателя перед тейлоризмом», который он отождествляет с самым вредоносным компонентом современной индустриальной цивилизации (2, с. 84).

Однако после революции 1917 г. многое изменилось в России. Новеллу Николая Федорова «Вечер в 2217 году» (1906) автор приводит как пример предвидения той фетишизации тейлоризма и фордизма, которая поразила революционную элиту в большевистской России, и обнаруживает прямое текстуальное влияние ее на роман Евгения Замятина «Мы» (1922). Название этого романа и его центральная тема, считает Банерджи, были инспирированы Алекссем Гастевым – рабочим поэтом, который стал директором Центрального института труда и главным пропагандистом тейлоризма. В своем анализе советских концепций автор отталкивается от лозунга Ленина «Работать как хронометры!» и показывает, что писатели достаточно двойственno относились к идеям об управлении временем.

Другое высказывание Ленина – «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны», связавшее воедино технические достижения и политические цели, стало отправной точкой для анализа сложных чувств, с которыми модернизирующаяся Россия смотрела на электричество. В этой области отставание ее от Запада было особенно заметным: в ленинском лозунге речь шла о технологии, практически отсутствующей в России, что придавало ему особую символическую силу, пишет автор. Способствовала этому и сама природа электричества, которое нельзя было наблюдать эмпирически и объяснить с точки зрения механики, что противоречило основополагающим научным принципам Просвещения. В отличие от дерева, угля или нефти, это форма энергии, а

не «материя» в бытовом понимании этого слова; электричество, пишет Банерджи, скорее являло собой «синтез материального и мистического» (2, с. 91–92). Действительно, продолжает она, научно-фантастические тексты описывали то, как электричество улучшит жизнь рабочих, используя совершенно мистические и потусторонние ассоциации.

В книге демонстрируется, что ленинский призыв к электрификации, который принято считать началом построения большевистской утопии, представлял собой кульминацию процесса, начавшегося в предшествующем веке. Задолго до Октябрьской революции в публичном дискурсе были выработаны соответствующие тропы, интерпретирующие роль электричества в современную эпоху. Парадоксально, пишет автор, но как раз физическое отсутствие электроэнергии в повседневной жизни и предоставляло свободу для интерпретаций, которые в научной фантастике XIX – начала XX в. сформировали «уникально русскую модель развития», названную автором «этическая модерность». Материальные трансформации, которые несет с собой электроэнергия, в этой модели были насыщены коннотациями о существующих в России «красколах» между городом и деревней, промышленностью и аграрным сектором, и, что особенно важно, между небольшой группой элиты, имеющей доступ к технологическим удобствам, и остальным населением, лишенным всех преимуществ модерности (2, с. 93).

В «царстве воображения» этические и эпистемологические изменения, которые несет с собой электроэнергия, вышли на первый план как в научной фантастике, так и в публицистике. Разбирая рассказ Константина Случевского «Капитан Немо в России» (1892), Банерджи указывает на фигуру русского «инженера-самородка», выходца из крестьян, которая заняла заметное место в публичном дискурсе об электричестве как социальной силе. В начале XX в., по мере того как электричество все больше входило в повседневную жизнь, меняется и отношение к нему в художественных и публицистических текстах. Из мистической силы, чреватой апокалипсисом, каким представляло электричество у символистов, у футуристов оно превращается в силу конструктивную, способную перестроить как материальную жизнь, так и сознание. Происходит синтез позитивистского и мистического восприятий электричества, и в искусстве футуризма возникает целостное его понимание, с привязыванием к природе (молния) и славянской архаике, с обожествлением грозового разряда, который одушевляет человека и высекает искру вдохновения. Электричество в катарсисе

революции предстает как слияние физической силы и духовной энергии. Таким образом, подводит итог автор, в хаосе и лишениях, которые принесла с собой Октябрьская революция, воображаемый потенциал электричества в спасении России и ее народа только обрел дополнительную силу (2, с. 113–114).

Своеобразная смесь мистицизма и науки, характерная для русской фантастики, наиболее ярко проявилась в теме «нового человека», которой посвящена последняя глава книги. В ней автор рассматривает «биологическую сторону модерности», сосредоточиваясь на дискурсах, вращающихся вокруг таких тем, как вырождение и гибель, омоложение и бессмертие. Один из серьезных вопросов, над решением которого работали ученые, философы, писатели, заключался в том, чтобы «вернуть» единство человеческой души и тела, якобы разрушенное позитивистской наукой. Геккель, Гельмгольц и Вундт в своих экспериментах далеко продвинулись по этому пути, пересматривая как дарвиновскую теорию эволюции, так и ламаркизм, утверждавший, что для адаптации к окружающей среде организм приобретает определенные характеристики, которые наследуются последующими поколениями. В романе К. Случевского «Профессор бессмертия» (1891) представлен синтез этих взглядов, так же как и последние новинки в области научных идей. Во многом, по наблюдению Банерджи, Случевский в своем романе предвосхитил проблемы, которые составили предмет научной дисциплины биофизики (2, с. 130).

Исследования Бехтерева и других русских ученых, использовавших революционные достижения физики и экспериментальной психологии для создания альтернативных моделей человеческой эволюции, представляли собой характерный пример «визионерской науки» конца XIX – первых десятилетий XX в., которая в той или иной степени была связана и с религиозной философией (2, с. 131–132). Учение Циолковского анализируется автором именно в таком ключе, что позволяет одновременно продемонстрировать новаторские черты его «космической парадигмы», в которой человек являлся узловым пунктом. А. Банерджи подчеркивает, что в учении Циолковского технологические трактаты, философские труды и научная фантастика составляли нерасторжимое единство, причем научная фантастика являлась продолжением и науки, и философии.

Высшей целью «колонизации космоса» Циолковский считал контакт человечества со Вселенной, где и произойдет эволюция в форме их «монистического единения». Техника становится важ-

ным фактором в создании гармонического единства человека и его среды обитания: используя человеческое тело как лабораторию, она восстанавливает «творческую и жизненную силу». По представлениям Циолковского, в условиях «свободного пространства» космоса, где все равны, люди будущего будут эволюционировать одновременно с машинами, которые станут органической частью человеческого тела. Скафандры должны будут служить не только защитой от жесткого излучения, но и производить энергию, питание и трансформировать вредные продукты распада в нечто полезное. Мыслящие существа Вселенной эволюционируют в расу «животно-растений», объединив в одном теле животный и растительный мир с техническими приспособлениями (2, с. 135–137).

Как пишет Банерджи, точно так же, как открытие протоплазмы вдохновило Циолковского на идею о «людях-растениях», новая область биологической инженерии и опыты с выращиванием культуры тканей в лабораторных условиях послужили импульсом для его размышлений о путях достижения бессмертия. Проблема человеческого бессмертия широко циркулировала в публичном дискурсе. После того как было доказано, что живые (пусть и одноклеточные) организмы могут жить и размножаться в искусственной среде сколь угодно долго, научно-популярные журналы возвестили о том, что ученые, наконец, получили долгожданное средство для продления жизни человека. В романе-утопии А. Богданова «Красная звезда» о путешествии на Марс, где уже царит коммунизм, предлагается свой вариант достижения бессмертия. Посредством взаимного обмена кровью – этой «жидкостью жизни» – человечество превращается в практически бессмертный коллективный организм. Таким образом не только преодолевается опасность вырождения и устраняется биологическая борьба за выживание, но и выстраивается прочная психологическая связь между членами эгалитарного общества, которое перерастает в новую фазу «физиологической кооперации». Современная медицина поднимается на уровень «инструмента коллективного искупления» (2, с. 147). Богданов утверждал, что в эпоху быстрого технического прогресса переливание крови восстановит жизненный дух человека, который быстро скатывается к состоянию автомата-робота. Он был убежден, что человеческая жизнь будет двигаться иначе, чем предписывает дарвиновская эволюция, изменив линейный характер движения на циклический (2, с. 148–149).

Однако советские воззрения на то, каким должен стать новый человек, кардинально отличались от идей Федорова, Циолков-

ского, Богданова. Представители новой школы советской психологии – «психотехники» начали утверждать, что человеческую психику следует изучать как чисто механический феномен, для чего были выработаны «психограммы» идеального работника для многих профессий, а также и для партийной верхушки. Квантификация становится главным инструментом новой советской психологии, направленной на «реконфигурацию и переосмысление тела и ума» в преддверии будущего, в котором, по представлениям марксистов, в том числе А. Гастева, не было «ничего, кроме идеальных машин, чей технический прогресс неограничен» (2, с. 152–153).

Подводя итоги своего исследования, А. Банерджи подчеркивает, что для описания ранней русской научной фантастики требуются новые термины, которые выходили бы за рамки бинарных моделей утопий / антиутопий. Автор предлагает термин «гетерохронотопия», навеянный идеями Бахтина и Фуко, который мог бы охватить все разнообразие текстов, в которых представлена не менее разнообразная картина мира в изучаемый ею период. Она отмечает, что ранняя русская научная фантастика критиковала дегуманизацию, в равной мере присущую как капиталистической модерности, так и ее большевистской альтернативе, поскольку в основе обоих проектов лежали примитивно утилитарные цели. Генеалогия научной фантастики в русском контексте за весь долгий период от *fin de siècle* до первых революционных лет «являет ее как гибридную форму, неотъемлемо сформированную модерностью». «Скорее регистрируя возможности, нежели делая предсказания», русская научная фантастика внесла вклад как в уничтожающую критику модерности, так и в создание ее неповторимой национальной версии (2, с. 161–162).

*O.B. Большакова*

**Джонсон Д.Э.**

**КАК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЧИЛСЯ ПОЗНАВАТЬ СЕБЯ:  
РУССКАЯ ИДЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ**  
**(Реферат)**

Ref. ad op.: Johnson D.E. How St. Petersburg learned to study itself: The Russian idea of kraevedenie. – University Park: Pennsylvania state univ. press, 2006. – XIII, 303 p.

В монографии доцента университета Оклахомы Эмили Д. Джонсон, работавшей в России в 1990-е годы, в том числе в качестве экскурсовода в Санкт-Петербурге, исследуется история формирования русского краеведения. Термин «краеведение», отмечает автор, незнаком американцам и большинству западноевропейцев. Вместе с тем в немецкой традиции имеется схожая дисциплина под названием «Heimatkunde», что в буквальном переводе означает «родиноведение». В России изучение края до начала XX в. также называлось «родиноведением», а термин «краеведение» приобрел популярность только в начале 1920-х годов. Краеведы считают географию края одним из определяющих факторов, наряду с социальной средой, символами, мифами, стереотипами, историческими представлениями, на которых выросли они сами; краеведы – это в большинстве случаев исследователи своего родного края. В этом смысле, пишет автор, краеведение – наука об идентичности. Краеведение стало платформой для определения истоков «русскости». Джонсон рассматривает краеведение как форму общественно-политической деятельности, тесно связанную с движениями по охране исторических памятников и окружающей среды (с. 6). В краеведческих исследованиях часто принимают участие неспециалисты, любители, и это, отмечает автор, является характерной чертой любой науки об идентичности (с. 7).

История развития русского краеведения соответствует представлениям западных ученых о генезисе науки, согласно которым научная дисциплина является «сложным культурным конструктом», продуктом социальных отношений эпохи, а не результатом деятельности одного человека или группы людей (с. 215). Джонсон подчеркивает, что научные дисциплины возникают спонтанно в результате различного рода социальных взаимодействий – между учеными сообществами, частными и общественными организациями, группами по интересам. Именно поэтому многие из них, включая краеведение, поначалу обладают гетерогенной структурой, т.е. основываются на теориях и методах, принадлежащих различным школам, и зачастую не воспринимаются как самостоятельные дисциплины членами научного сообщества. Однако со временем, пишет Джонсон, различия стираются, ученые осознают свою «коллективную идентичность», вырабатываются собственные методы исследования (с. 216).

Объектом изучения в монографии выбран Петербург (Петербург, Ленинград) как город, являющийся местом зарождения и теоретическим центром русского краеведения. Петербург, по мнению автора, обладает самым ярким «культом места», особенным символическим значением. С самого начала он создавался как «окно в Европу», как эпицентр петровской кампании вестернизации, как самый западный город полуазиатской России. Начиная с западников и славянофилов, русские интеллектуалы писали о Петербурге, превратив его в центр и объект своих полемических дискуссий. Образ и происхождение Петербурга непосредственно касаются проблемы русской идентичности, соотношения в ней русского и европейского, места России в семье европейских держав, ее особого предназначения в мире (с. 8–9).

Джонсон выделяет и подробно рассматривает три течения, сформировавшие краеведение: охрана памятников, экскурсионное «течение» и собственно исследования родного края. Основа трех направлений – литературная. Именно литературная составляющая, по мысли автора, позволила трем разрозненным направлениям оформиться в одно целое и начать восприниматься в качестве единой научной дисциплины. Поэтому такое большое внимание она уделяет путеводителю как уникальному источнику и специфической форме воплощения результатов краеведческих исследований.

Джонсон поэтапно анализирует становление петербургского краеведения. Она начинает с рассмотрения текстов о Петербурге, вышедших в XVIII–XIX вв. и включающих в себя как описания

города и его достопримечательностей, так и литературные произведения, в том числе фельетоны и «физиологические очерки», а также такие шедевры, как «Медный всадник» А.С. Пушкина, повести Н.В. Гоголя, романы Ф.М. Достоевского. Путеводители 1830–1840-х годов также содержали элементы художественной литературы и «литературных прикрас» (с. 33). В пореформенную эпоху с ослаблением цензурного гнета и повышением интереса к родной истории появился новый тип путеводителя, рассказывающего о прошлой, а не о современной жизни города. Наиболее популярным описателем ландшафтов и истории Петербурга и пригородов стал М.И. Пыляев. В его очерках о «забытом прошлом» Северной столицы и ее окрестностей культивировался новый тип «ностальгического национализма», они способствовали популяризации термина «Старый Петербург» (с. 42). Работы Пыляева, считает автор, заложили основу для вспыхнувшего в начале XX в. интереса к исследованию города (краеведению) и сохранению его исторического облика.

Большое внимание Джонсон уделяет рассмотрению деятельности объединения «Мир искусства» в области изучения и охраны памятников «Старого Петербурга», которая оказала непосредственное воздействие на становление краеведения в столице. Особое значение она придает таким известным журналам Серебряного века, как «Мир искусства», «Художественные сокровища России» и «Старые годы», в которых большое место отводилось материалам о Петербурге. На их страницах печатались В. Курбатов, П. Столпянский, Г. Лукомский, которые вели большую работу по изучению Северной столицы: создавали базовые путеводители по Петербургу и пригородам, описания парковых ландшафтов и аннотированные библиографии (с. 58). Движение по охране памятников, по мнению Джонсон, начинается с того момента, как А. Бенуа стал редактором журнала «Художественные сокровища России». После его закрытия новым «рупором» движения становится журнал «Старые годы» (1907–1916).

Автор уделяет внимание и деятельности неправительственных организаций по охране культурного наследия, в частности, основанному в 1910 г. бароном Николаем Врангелем Обществу защиты и сохранения в России памятников искусства и старины, имевшему филиалы и в других городах. Большинство же обществ и организаций охватывало только Петербург и пригороды, которые оставались в центре внимания вплоть до революции. В 1907 г. Комиссией изучения и описания Старого Петербурга был создан

Музей Старого Петербурга, в котором хранились документы и элементы декора, спасенные из разрушаемых зданий. Принципы деятельности этих организаций были заимствованы в ранний советский и постсоветский периоды, отмечает автор (с. 67–68).

История движения по охране исторических памятников в первые послереволюционные годы началась, пишет Джонсон, с создания в феврале 1917 г. так называемой Комиссии Горького, в которую вошли Бенуа, Лансере, Добужинский, Лукомский, Перих, Билибин, Петров-Водкин, Шаляпин и др. В книге рассматривается деятельность художественно-исторических комиссий, созданных летом 1917 г. для инвентаризации движимого имущества дворцов Петрограда и его окрестностей. В результате за два года было составлено подробное научное описание и сфотографированы значимые художественные и исторические объекты в Эрмитаже, Царском Селе, Гатчине, Петергофе. Любопытно, замечает автор, что комиссии – единственные органы бывшего Министерства императорского двора, сразу согласившиеся сотрудничать с большевиками и потому получившие поддержку А.В. Луначарского, народного комиссара пропаганды. Комиссии стали заниматься превращением пригородных дворцов в музеи, воссоздавая в них обстановку соответствующей эпохи. Сотрудничая с большевиками, Бенуа, Верещагин, Тройницкий, Вейнер и др. занимали высокие посты в Комиссариате пропаганды в годы Гражданской войны, однако ко второй половине 1920-х годов многие из них были вынуждены эмигрировать, будучи не в состоянии принять партийную линию и проводимые партией широкомасштабные кампании индустриализации, коллективизации и советизации общества. Иные решили переждать «бурю культурной революции» в своих кабинетах (с. 81).

В первые послереволюционные годы Бенуа и его единомышленники способствовали созданию двух организаций, которые неизменно упоминаются, когда речь идет об истории краеведения. Осенью 1918 г. был создан Музей Города, расположившийся в здании Аничкова дворца и включивший в качестве одного из отделов Музей Старого Петербурга. Музей Города занимался развитием и перепланировкой Петрограда, но иногда использовал свои возможности для сохранения исторических памятников. Например, музей выразил протест в 1924 г. против замены ангела на Александровской колонне статуей Ленина или иным советским символом. В 1928 г. многие работники музея были уволены в результате проверки, осуществленной Ленинградской областной рабоче-крестьянской инспекцией, а экспонаты – распроданы для

финансирования первой пятилетки (с. 87). В 1930-е годы музей просуществовал под разными именами, дистанцируясь в своей деятельности и идеологии от всего «старомодного» или «несоветского», и был закрыт в июле 1941 г.

Вторая организация, Общество по изучению, популяризации и художественной охране Старого Петербурга и его окрестностей, была создана осенью 1921 г. Ее краткое название – Общество Старого Петербурга – выражало почтение к дореволюционной традиции. В 1922–1923 гг. сотни волонтеров общества работали в Петрограде, фотографируя, измеряя, регистрируя памятники, находящиеся под угрозой. Было осуществлено несколько проектов по реставрации, открыт ряд музеев. Обществом проводились семинары, устраивались концерты, лекции и экскурсии. Проводился сбор экспонатов для Музея Старого Петербурга. Все это, подчеркивает Джонсон, осуществлялось без финансовой поддержки правительства. Организованный при Обществе Комитет помощи устраивал различные мероприятия для сбора средств. После 1924 г. и общество, и комитет пришли в упадок в силу экономических и политических причин. Государство, по замечанию автора, стало вмешиваться в дела гуманитарных наук намного раньше, чем естественных, и оказывало уже в начале 1920-х годов давление на культурные организации.

В главе «Экскурсионное движение и экскурсионная методология» большое внимание уделяется творчеству Н.П. Анциферова, которого Джонсон называет ключевой, наравне с А.Н. Бенуа, фигурой в изучении Петербурга. Имя Анциферова связано с русским экскурсионным движением, уходящим корнями в начало XX в. Экскурсионное движение, пишет автор, зародилось в России в рамках педагогической реформы: преподаватели ряда петербургских учреждений стали вводить экскурсию как новый живой подход к преподаванию любой дисциплины. В 1920-е годы на основе «экскурсионного метода» возникли научно-исследовательские институты, образовательные учреждения (например, Петроградский Экскурсионный институт, организованный в 1921 г. при Наркомпросе), создавались систематические программы краеведческих исследований, путеводители нового вида.

Еще одна фигура в экскурсионном движении – И.М. Грэвс, историк и преподаватель, специалист по истории Древнего Рима и большой знаток Петербурга, систематизатор экскурсий по гуманитарным и социальным наукам, сторонник их внедрения в образовательные программы. Грэвс внес большой вклад в методологию

краеведения, при помощи собственного метода обучая студентов технике исследования культуры «избранных топографических районов». Гревс создавал особую атмосферу для изучения каждого города: исследование начиналось с обозрения городской панорамы с центрального собора, а для создания особого эмоционального состояния зачитывались характерные произведения эпохи (с. 103). Благодаря Гревсу, Райкову и другим дореволюционным специалистам, согласившимся сотрудничать с советской властью, Петроград сохранил на какое-то время статус образовательного центра и лидера в экскурсионном деле, несмотря на то что столица весной 1918 г. была перенесена в Москву. Гревс стал и одним из ведущих организаторов Экскурсионного института, его труды по «градоведению» и работы его учеников, подготовивших программы экскурсий на основе идей своего учителя, составили основное научное наследие этой организации (с. 123).

В главе «Экскурсии и литературные туры» анализируется преимущественно один из видов экскурсий – литературные. Автор рассматривает книгу Анциферова «Быль и миф Петербурга» (1924) как образец экскурсионного пособия, в котором содержится не только историко-географический материал, но и анализируется «Медный всадник» А.С. Пушкина. В 1920-е годы Анциферов разработал целую серию литературных экскурсий, причем помимо пушкинского «Медного всадника» его внимание было приковано к романам Ф.М. Достоевского («Петербург Достоевского»). Автор останавливается и на других типах экскурсий, многие из которых делали акцент на отдельных достопримечательностях – императорских резиденциях, церквях, монастырях, а также на промышленных объектах, которые рассматривались как особая социальная среда (с. 142).

Начиная с 1924 г. советская идеология стала оказывать заметное влияние на тематику экскурсий, их назначение также стало меняться. Можно сказать, что началось свертывание экскурсионной работы в дореволюционном, академическом понимании, когда экскурсии воспринимались как важная составляющая образования. В экскурсионных пособиях появлялись такие темы, как классовые, производственные отношения, борьба трудящихся. Главным объектом исследования становилось настоящее, а не прошлое. Стали организовываться экскурсии в колхозы, в рабочие поселки, а не по местам блистательной жизни дворянства XVIII и XIX вв. И все-таки, подчеркивает автор, специалисты экскурсионного дела предпринимали попытки приспособить требования эпохи к собствен-

ным интересам, из любого идеологически ограниченного предмета создать органичную, инновационную экскурсию (с. 144). По мнению Джонсон, закату «золотого века» экскурсионной работы способствовали возраставшее идеологическое давление, дальнейшее сокращение финансирования в Наркомпросе, изменения в педагогических подходах, межведомственные конфликты и столкновения на личном уровне.

В конце 1920-х – начале 1930-х годов экскурсии становятся частью индустрии досуга, все чаще по отношению к экскурсионной работе применяется термин «туризм». Партия стремилась к продуктивному использованию досуга. В марте 1930 г. было создано Общество пролетарского туризма и экскурсий, в задачи которого входило сделать туризм социально ориентированным (с. 147–148). Предпочтение отдавалось групповым экскурсиям для рабочих. В музеях экскурсии проводились специально обученными штатными гидами на основе утвержденных экскурсионных планов. Ождалось, что отныне все туры будут отражать какое-то политическое послание. Контроль над информацией, над тем, что говорилось и что воспринималось, особенно в отношении образа жизни Романовых, становился повсеместным (с. 150).

В отдельной главе рассматривается краеведение в Санкт-Петербурге. В отличие от экскурсионного дела, которое разрабатывалось для нужд образования, занятие краеведением подразумевало изучение своего региона. Среди краеведов существовали разногласия в определении области исследования: одни считали краеведение совершенно новой наукой, другие методом, трети – «народным движением». В самом широком смысле краеведение представляло собой любое междисциплинарное исследование территории России. Изучение края, в котором жил данный исследователь, отражало потребность в знании о своем отечестве, в его понимании и служении ему (с. 157). В институциональном отношении в 1920-е годы краеведение представляло собой сеть провинциальных организаций, возникших после Гражданской войны. В Наркомпросе осознавали, что музеи, архивы, коллекции были на грани исчезновения, и за ограниченностью собственных ресурсов полагались на провинциальные культурные ассоциации, состоявшие из добровольцев.

В декабре 1921 г. Академическим центром Наркомпроса была организована Первая конференция научных обществ по изучению края, в которой приняли участие как педагоги, так и исследователи. Для координации деятельности различных краеведческих обществ

при Академии наук было основано Центральное бюро краеведения (с. 159). Однако Академия наук не приняла в совет Центрального бюро краеведения (ЦБК) представителей провинции, оставив только членов от Москвы и Петрограда, что разъединяло провинцию и центр. Это решение казалось странным, поскольку в 1920-е годы краеведение считалось занятием исключительно провинциального характера. Однако по результатам конференции краеведческое движение распалось на деятельные провинции и административный центр (с. 162). Поскольку краеведы в провинциях считались скорее любителями, Академия наук не разрешила их представителям являться в центр, где краеведческими вопросами занимались специалисты академического толка, среди них – Ольденбург, Платонов, Ферсман, Анучин. В журналах «Краеведение» и «Известия ЦБК» последние постоянно противопоставлялись дилетантам в провинциях, деятельность которых определялась заданиями и инструкциями, поступавшими из центра (с. 159–160).

В Петрограде до 1925 г. появилось только несколько активных краеведческих групп, работавших в отдаленных от столицы и пригородов районах полусельского характера. Первой крупной организацией стало основанное в мае 1925 г. Ленинградское общество изучения местного края. ЦБК осознало, что провинциальная ориентированность краеведения ограничивала его рост и развитие, и принялось продвигать краеведение в столицах. В условиях свертывания экскурсионного дела многие старые исследователи захотели влиться в ряды краеведов. Среди краеведов Северной столицы оказались бывший редактор журнала «Экскурсионное дело» И.И. Полянский, автор географических экскурсий Г.Г. Шенберг и знаменитый И.М. Грэвс (с. 163). К концу 1920-х годов по всему СССР функционировало около 2000 краеведческих групп, совокупное число участников которых составляло 50 000 человек. Финансиировалось ЦБК через Наркомпрос. На протяжении 1920-х годов краеведческие организации оставались относительно самостоятельными, а в функции ЦБК входило лишь координирование деятельности разбросанных по стране организаций (с. 166).

В 1926 г. обострилось соперничество между Москвой и Ленинградом, после того как на Шестой сессии краеведения москвичи выступили как отдельный блок, противопоставив себя «академикам» из Северной столицы. Фактически заняв проправительственную позицию, московские краеведы поддержали идею о практической ориентированности краеведения, об обслуживании специалистами-краеведами потребностей развития промышленности, модернизации

инфраструктуры. В результате резкой критики, прозвучавшей в адрес ленинградцев и их «академических» ценностей от членов партии на Третьей Всероссийской конференции по краеведению (декабрь 1927 г.), организационно-управленческие функции были переданы московской фракции краеведов, а ленинградцев обязали заниматься исключительно научной и методической работой (с. 171).

Акцент в новых политических условиях, пишет Джонсон, должен был делаться на технологиях и естественных науках, краеведы были лишены свободы действий, и их публикации в основном касались городского планирования, строительных проектов, промышленности. Началась борьба между «историческим (буржуазным)» и «производственным» краеведением, насаждавшимся сверху. Оплотом «исторического» краеведения считались ленинградские «академики», и в результате многие из них были арестованы в 1929 г. (с. 174)

В августе 1927 г. все провинциальные краеведческие организации были переданы под юрисдикцию Наркомпроса, за чем, отмечает автор, посыпались указы «сверху», принуждавшие краеведов участвовать в государственных экономических программах, что фактически свело на нет деятельность ленинградской фракции (с. 189). Именно последняя стала основной мишенью при проводившихся в 1930–1931 гг. в академической среде арестах. Академики были обвинены в организации контрреволюционного заговора, в использовании ЦБК в качестве платформы для поиска единомышленников. Отдавшие указ о проведении академических чисток, считает Джонсон, видели двух противников «централизации и гегемонии Москвы»: ленинградскую интеллигенцию и движение региональной культурной автономии. Причем, отмечает она, если для Академии наук кампания 1929–1931 гг. означала «временную опалу и бессрочную утрату независимости», то для краеведения почти тотальное уничтожение. Весной 1930 г. было ликвидировано ленинградское отделение Бюро краеведения, началась реорганизация провинциальных структур на началах строгой иерархии, где под видом борьбы с «любительщиной и кустарницей» изживалась волонтерская суть краеведения. Старые краеведы исчезли, и никто не пришел к ним на смену, пишет автор (с. 176).

К середине 1930-х краеведение ушло в забвение и смогло относительно воспрянуть только в хрущевскую «оттепель». Советские руководители послесталинского времени были лояльны к краеведению, воспринимая его скорее как удачную форму досуга, способ развивать патриотические настроения. Возрождению ленин-

градского краеведения, пишет автор, способствовал опыт блокады, во время которой между ленинградцами, добрая половина которых умерла голодной смертью, и их городом, разрушенным в результате бомбёжек, сформировалась особая тесная связь. Реставрация и реконструкция дворцов и памятников императорской эпохи после войны способствовали бурному всплеску интереса и любви к дореволюционному прошлому. Восстановление разрушенного города дало ему новую идентичность – идентичность города-героя, восставшего из пепла во всей своей красоте и великолепии. В результате в Ленинграде появилось множество краеведов-любителей, каждый из которых хотел внести свой вклад в исследование города. В этом отношении наследие 1920-х годов оказалось неоценимым.

В заключении Джонсон отмечает, что в 1990-е годы краеведение превратилось в платформу оппозиции центральному правительству. В публикациях выражались опасения относительно влияния Москвы на культурные процессы в провинции, особенно в отношении таких городов, как Санкт-Петербург и Новгород, на разных исторических этапах представлявших культурную и политическую альтернативу Москве. В последние годы отмечается оживление в деятельности краеведов, которые пытаются устанавливать контакты со своими зарубежными коллегами в Германии, Франции, США, участвовать в международных конференциях и совместных публикациях.

*T.K. Сазонова*

## **О.В. Большакова**

### **ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА: БИОМЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ В РОССИИ XX ВЕКА (СОВРЕМЕННАЯ АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ) (Аналитический обзор)**

В первые десятилетия XX в. наука в России претерпела грандиозную трансформацию, превратившую Советский Союз в один из центров мирового научного знания. Немалую роль в этом сыграл, как известно, тот факт, что большевистское правительство провело широкие реформы, в результате которых в СССР и была создана «большая наука», функционировавшая на государственных основаниях (см. реферат И.К. Богомолова, опубликованный в настоящем сборнике). Одной из важных составляющих научной революции в России начала XX в. стала революция в медицине и биологии, точнее в науках о жизни, как их называют в англоязычных странах (*life sciences*). Ее суть составляло, как пишет Н.Л. Кременцов, «введение экспериментальных методов, заимствованных из физики и химии, в изучение жизни, смерти и болезни». Исследования эти широко развернулись по всему миру и вызвали своего рода эйфорию: казалось, что наука способна контролировать и жизнь, и болезнь, и смерть (20, с. 7). Начавшись с организации в Санкт-Петербурге Института экспериментальной медицины в 1890 г., «биомедицинская революция» в России была отмечена двумя Нобелевскими премиями, присужденными И.П. Павлову (1904) и И.И. Мечникову (1908), что означало международное признание русской науки.

Однако институциональное развитие наук о жизни началось только после революции 1917 г., когда в кратчайшие сроки возникли журналы, научные общества, исследовательские и учебные институты, где изучались и преподавались совершенно новые дис-

циплины – эндокринология, генетика, гематология, иммунология, эмбриология, биохимия, физиология высшей нервной деятельности, социальная гигиена, наконец, евгеника и педология (20, с. 8). При этом что сходные процессы наблюдались в тот период повсеместно, только в СССР наука стала делом исключительно государственным. Именно поэтому «русский случай» был столь интересен для западных специалистов, и медицина не являлась здесь исключением.

Зарубежные, прежде всего американские, историки медицины стремились понять секреты успехов советской системы здравоохранения, выявить специфические черты этой модели, ее недостатки, наконец, обрисовать непростые взаимоотношения медиков с государством, которые смогли вылиться в последние годы правления Сталина в «дело врачей». В отличие от социологов и политологов, которые занимались в годы холодной войны советской современностью и недавним прошлым медицины и связанных с нею наук, историки изучали главным образом революционный период, сосредоточиваясь на институциональных аспектах формирования социалистической системы здравоохранения и профессионального образования. Постепенно в круг их интересов вошли и другие вопросы, связанные с повседневной практикой клиницистов и учёных, так же как и с историей идей. В современных исследованиях, основанных на фундаменте, созданном в 1980–1990-е годы, ставятся более широкие вопросы, которые позволяют рассмотреть развитие медицины в СССР в контексте общемировых тенденций, а также продемонстрировать преемственность между дореволюционным и советским периодом. В настоящем обзоре представлена современная западная историография медицины и «наук о жизни» в России XX в., которая проливает свет на многие интересные и ранее не изучавшиеся аспекты истории общества и политики.

Среди глобальных вопросов, занимающих сегодня специалистов в области изучения медицины, ключевое положение занимает вопрос, является ли современная медицина наукой или искусством. Казалось бы, ответ очевиден: мы привыкли воспринимать медицину как объективную научную дисциплину. Однако скорее, замечают редакторы сборника «Советская медицина: Культура, практика и наука» (27), речь может идти о том, что врачи и весь медицинский персонал *используют* науку, применяя в своей деятельности достижения биологии, анатомии, физиологии, бактериологии, вирусологии, фармакологии и многих других дисциплин для того, чтобы успешно вылечить конкретного пациента. Гиппократов треугольник «болезнь – пациент – врач» по определению

предполагает сочетание элементов науки с индивидуальными оценками, которые включают в себя не только «врачебную интуицию», но и этические и эстетические критерии, наконец, представления о «норме», изменяющиеся во времени. Иными словами, сегодня специалисты в области истории медицины подчеркивают значение культурной составляющей в постановке диагноза и назначении лечения, что неизбежно перемещает акцент с «объективных» данных науки на индивида – врача и пациента. Таким образом, врач не только является представителем «экспертного сообщества», прошедшим длительную подготовку: он «должен быть специалистом одновременно в области науки и искусства» (27, с. 6–7).

Моральные и эстетические составляющие медицины выходят на первый план при изучении советского периода, поскольку в тот момент ее гуманитарные принципы совпали с устремлениями первого в мире социалистического государства по созданию «нового человека». Организация государственной системы здравоохранения должна была гарантировать право на здоровье каждого гражданина как одно из первейших его прав. Авторы введения к сборнику отмечают, что наука для многих социалистов носила характер «фетиша», и медицина представлялась им наиболее полным воплощением «науки на службе человечества». Когда произошла революция, большевики, явно недооценивавшие масштаб вставших перед ними проблем, обратились к медицине для «урегулирования вопросов, содержащих моральный или эстетический компонент», – таких, как сексуальность, преступность, здоровье и хорошее физическое состояние будущих поколений (см.: 2; 3; 10). При этом медицина активно смешивалась с утопическими взглядами и с политикой. В данном случае, пишут авторы введения, прямо затрагивается вопрос, который находится в центре внимания современных историков: в какой степени современная медицина является формой политики? (27, с. 8).

Ответ следует искать в XIX в., когда благодаря таким фундаментальным открытиям, как теория клеточного строения живых организмов, теория эволюционного развития Дарвина и закон сохранения и превращения энергии, медицина стала научной дисциплиной и обрела далеко не символическую власть не только над человеческим телом, но и над умами своих современников. Историки говорят о «медицинизации» – процессе, происходившем в индустриализирующихся обществах XIX в., в ходе которого медики все чаще стали выносить приговор о болезни и здоровье, норме и патологии, причем не только в отношении отдельных индивидов,

но всего населения в целом. Процесс этот был тесно связан с развитием политики здравоохранения (или, как это звучало раньше по-русски, «народного здравия») в эпоху модернности.

«Медикализация» в материальном мире означала улучшение санитарного состояния городов, в том числе создание систем канализации и водоочистки, переустройство городского пространства и планировки жилья. Все это делалось с целью предотвращения эпидемий. Особое внимание медики стали обращать на санитарное состояние общественных учреждений, университетов и школ, на быт рабочих и охрану их труда. Не обошли они своим вниманием и домашний очаг, подвергнув тщательной ревизии с новейших научных позиций деторождение и уход за детьми, чтобы обеспечить здоровье будущих поколений. В сущности, медицина стала составной частью политики, которая затрагивала архитектуру, образование, трудовые отношения, систему социального страхования и, конечно же, воспроизводство населения (27, с. 8–9).

В мире идей «медикализация» заняла не менее важное положение, что нашло свое проявление в частом употреблении медицинских терминов и метафор в публичном дискурсе. В индустриализирующемся мире, пишут авторы введения, к 1914 г. утвердился взгляд на общественную эволюцию, основанный на идеях Просвещения. Считалось, что направляемое наукой общество идет вперед по пути прогресса, что должно было включать в себя и достижение максимального уровня здоровья. Применение медицинской науки в целях прагматических и утопических получило самое широкое распространение и приняло форму разнообразных попыток сделать человечество лучше, здоровее, разумнее, наконец, трезвее; в их основе лежали чисто светские моральные ценности, бросавшие вызов религиозным ценностям подчинения и искупления. С точки зрения политической многие аспекты этого «проекта Просвещения» давали медикам несомненную власть (авторитет), и, как утверждал Мишель Фуко, все это было направлено на обретение «биовласти» (там же, с. 8).

Проблемам «медикализации» публичного дискурса посвящена монография британского историка Дэвида Биера, в которой рассматриваются «науки о человеке» – психиатрия, психология, криминология, антропология, юриспруденция и социология в России конца XIX – начала XX в. (1). В книге исследуется выработанный в этих науках комплекс идей о трансформации общества и поведении индивида, ставший тем интеллектуальным наследием, на которое опирались (и от которого отталкивались) большевики,

формируя свою политику социальной инженерии. Парадоксально, по мнению автора, что идеи эти были выработаны главным образом либеральными мыслителями конца XIX – начала XX в. Важной составляющей мировоззрения «реформаторских элит» в России была их рационалистическая вера в преобразующую и трансформирующую силу науки, и так называемые «науки о человеке» предоставляли необходимый научный аппарат для размышления о тех проблемах, которые встали перед русским обществом в начале XX в. Как считает автор, русский либерализм, проигравший в ходе революции и не достигший своих политических целей, выиграл в интеллектуальном отношении. Его видение будущего модернированного общества, построенного на рациональных началах, не только пережило водовороты 1917 г., но и продолжало формировать программу трансформации, которую при советском режиме разрабатывали медики и специалисты в области других наук, связанных с человеческим поведением (1, с. 2–3).

Автор понимает либерализм исключительно широко, и потому в его «реформаторскую научную элиту» оказались включены и вполне консервативные и даже радикально-националистически настроенные авторы, как, например, психиатр Сикорский. Биер указывает на тот факт, что характерный для классического либерализма акцент на правах индивида «в значительной степени растворился в рационалистических водах русской мысли конца XIX в.», и обнаруживает в его российском варианте тенденции к оправданию насилия. Автор обращается к либеральной миссии русской общественности, для которой понятия прогресса и модернизации означали прежде всего просвещение народа. Однако эта «цивилизаторская миссия», как показали работы американских специалистов, была по своей сути не только «культурной», но и медицинской. Считая себя представителями «прогресса», врачи постоянно указывали на различия между «цивилизованным» и «примитивным», «современным» и «отсталым», «научным (светским)» и «религиозным», наконец, «нормальным» и «ненормальным» (см.: 9; 17). Русское крестьянство при ближайшем рассмотрении оказалось совсем другим «социальным животным», нежели образованные элиты, пишет Биер, его «врожденные инстинкты» требовали специфических социальных и политических форм (1, с. 21).

Иными словами, не только радикальный, но даже либеральный проект по улучшению общества являлся «по определению насилиственным» (1, с. 23). Однако эта проблема, по замечанию Биера, не была исключительно российской: во Франции, Англии,

Германии и Италии пенитенциарная система в начале XX в. двигалась в том же направлении, далеком от идей классического либерализма. Их объединяли общий страх перед стихийностью, иррациональностью и преклонение перед порядком и диктатом рассудка. Науки о человеке в России и в Европе в этот период превозносят закон как «конституирующую деталь дисциплинарного арсенала государства», средство для утверждения порядка и одновременно инструмент трансформации (1, с. 24–25). По заключению автора, реформаторские элиты в России после революции 1905 г. пришли к убеждению, что препятствием к созданию либерального строя является не только реакционное самодержавие, но и «испорченный человеческий материал» (1, с. 26). Более того, Биер выявляет определенную эволюцию во взглядах либеральной элиты, которая от идей просвещения крестьянства и улучшения социально-экономических условий путем реформ постепенно перешла к идее о необходимости ограничения свободы человека.

Эти наблюдения позволяют автору обнаружить точки соприкосновения между либерализмом и тоталитаризмом. Он отмечает, что в подходах к социуму у них было много общего и что различия заключаются «только в степени» (имея в виду «амбиции по переустройству мира»). Как радикалы (предшественники тоталитарных политиков), так и либералы, считая общество продуктом человеческой деятельности (артефактом), в начале XX в. придерживались убеждения, что необходимо переделать не только социально-экономические основы государства, но и его население (1, с. 4).

При всей спорности подходов и интерпретаций книга Биера представляет несомненную ценность для целей настоящего обзора, поскольку в ней рассматриваются те понятия, клише и риторические фигуры, которые возникли в России дореволюционной и в советское время начали жить своей жизнью.

Прежде всего стоит остановиться на роли и месте науки в системе общепринятых представлений русского общества начала XX в., стоявшего перед «вызовами современности». Современность, которую сегодняшние историки определяют англоязычным термином «модерность» и склонны относить к сфере воображения, а не эмпирической реальности, ставила перед русскими интеллектуалами целый ряд экзистенциальных вопросов. По утверждению Биера, важной характеристикой модерности являлось убеждение, или, точнее, иллюзия всемогущества человека, что лежало в основе многих проектов по социальной инженерии. Отсюда – оптимизм, вера в способность переделать мир. Кроме того, модерное созна-

ние конца XIX – начала XX в. было пронизано ощущением постоянного кризиса. Неумолимое разрушение старых, традиционных устоев и возникновение непонятных новых социальных форм (современный город, массовая культура, пролетариат и все связанное с этим классом) влекли за собой множество социальных проблем (антисанитария в городах и промышленное загрязнение, рост преступности, классовые конфликты и пр.). По словам автора, люди модерной эпохи колебались между двумя полюсами: между оптимизмом и верой в прогресс и пессимизмом, характеризующимся ощущением надвигающейся угрозы, страхом коллапса, хаоса и вырождения человечества.

Наука, пишет Биер, играла ключевую роль как в определении проблем, «создававшихся» современностью, так и в сотворении оптимистических «рецептов» для их решения. Причем центральное место автор отводит «биомедицинским» наукам, в частности, биopsихологическим теориям о человеческой природе и социальности. В эпоху модерности происходит отчетливая «биологизация социального» (что явилось, в частности, основой для возникновения расовых теорий и расизма). Современники самых разных идеологических и политических ориентаций могли черпать из биомедицинских теорий социального упадка и людского вырождения материал для изображения общества как организма, который управляет биологическими и психологическими законами. Эти теории предоставляли научный фундамент для выражения социальных страхов и придавали несомненную респектабельность проектам социальной трансформации, они же делали легитимными карательные меры по отношению к правонарушителям. Нarrатив прогресса представлял в биомедицинских науках достаточно двойственno: с одной стороны, права индивидов в нем были подчинены правам абстрактного сообщества (коллектива), с другой – эти науки, тесно связанные с просвещенческими ценностями гуманизма и свободы индивида, несли в себе эмансипаторский заряд (1, с. 6–7).

Поскольку дисциплинарные границы в науках, изучающих человека, в конце XIX – начале XX в. еще не устоялись, в центре внимания Биера находятся не отдельные дисциплины, а теории, которые развивались и пропагандировались специалистами самых разных научных школ и просто публицистами. Психиатрия, криминология и теория наследования физических, интеллектуальных и социальных характеристик населения занимали основополагающее место в формирующемся биомедицинской модели, в центре внимания которой находились такие феномены, как вырождение,

психология толпы и массовая истерия, преступность и ее корни. Теории вырождения и морального разложения наряду с биopsихологическими теориями эволюции составляли «современный» дискурс об обществе и способах излечения его язв (1, с. 8–9).

В книге подробно рассматривается теория вырождения, которую довольно быстро стали использовать в критике капитализма и пороков современности. Применение медицинских терминов к такому феномену, как преступность, позволяло делать обобщения о существовании «преступного класса», который биологически и психологически отличается от всех остальных общественных групп. Идеи о том, что «дегенераты» и «душевнобольные» заражают всех вокруг себя и создают угрозу общественной стабильности, находили большой отклик.

Автор отмечает, что наука пользовалась необыкновенной популярностью в России и серьезные научные исследования получали большой общественный резонанс. В «толстых» журналах публиковались материалы, посвященные научным проблемам; статьи, представляющие интерес для широкой публики, помещали и специальные журналы. Психиатры, врачи и юристы-криминологи считали своим долгом высказываться по общественным вопросам с профессиональной точки зрения, что придавало особый вес терминам, которые их современники брали на вооружение для рассмотрения изменений в окружающем мире. Характерно, к примеру, что земскими врачами в обращение был запущен термин «оздоровление», который часто выступал синонимом демократических реформ (1, с. 11).

Даже Победоносцев высказывался о «кишащих в воздухе атомах испорченной материи», которые распространяют «революционную заразу», привнося таким образом медицинскую терминологию, пусть и превратно трактуемую, в консервативную критику «болезней нашего времени». «Язвы современного общества» бичевали публицисты самого разного толка и уровня, оказалась не чужда «медицинизации» и великая русская литература. Один из ярких примеров литературного прочтения современных теорий вырождения и психопатологии – портрет «социал-дарвинаиста» фон Корена в чеховской «Дуэли». Отсылки к теории Чезаре Ломброзо о прирожденном преступнике можно встретить в романе Л.Н. Толстого «Воскресение».

По словам Биера, если в 1910-е годы наука и практика играли центральную роль в сплочении гражданского общества, то после революции науки о человеке «нашли себе более щедрого, пусть и

идеологически более несгибаемого патрона в лице советского режима» (1, с. 14). Многие психиатры, криминологи и психологи, симпатизировавшие программе нового советского государства по рационализации и модернизации, сотрудничали с ним. Как и до революции, образы социальной патологии, психического надлома и вырождения продолжали широко циркулировать в публичном дискурсе. Применялись они и в науках о человеке, что принесло свои плоды, обеспечив режим «научным фундаментом» для проведения репрессивной политики (1, с. 15).

Зарубежные историки, занимающиеся изучением советской медицины, единодушно указывают на то тяжелое наследие, которое получили большевики. Они отмечают, что за годы войн и революций, т.е. за период 1914–1921 гг., Россия пережила демографическую катастрофу. При оценке потерь в Первой мировой и Гражданской войнах приводятся цифры от 16 до 30 млн умерших и пострадавших (13, с. 92; 24, с. 23). По разным данным, только от голода и болезней в России умерло около 10 млн человек, еще больше было покалечено или страдало хроническими заболеваниями (28, с. 3). Причем помимо физических травм широкое распространение получили травмы психические, которые ярко проявились в первые мирные годы и привели к серьезным социальным последствиям.

Многие авторы отмечают, что годы нэпа характеризуются нервным и психическим истощением общества, но характеризуются они также и всплеском антисоциальных действий. Это эпоха крайне противоречивая: с одной стороны, историки рассматривают ее как время «революционных экспериментов», большого интеллектуального разнообразия и довольно либеральной культурной политики; с другой – это время беспрецедентных страхов и неопределенности, когда «революционное истощение» ставило под вопрос перспективы «революционной утопии» (15, с. 562). Зарубежные исследователи довольно часто применяют при изучении нэпа термин «моральная паника», который употребляется в социологии для обозначения возникающей в обществе массовой истерии по поводу «опасности» и «вредоносности» какой-либо социальной группы (при мерами ее служат такие далеко отстоящие во времени феномены, как средневековая охота на ведьм или возникшая в 2000-е годы истерия по поводу педофилии). В годы нэпа страхи концентрировались вокруг наследия капитализма и тех угроз, которые оно несет будущему страны. Считалось, например, что высвободившаяся в результате революции энергия варварства, кипевшая под поверх-

ностью в дореволюционное время, выплеснулась наружу. Особое внимание обращали на молодежь, которая «приобрела немалое количество этой энергии разрушения», что вело к распространению хулиганства и пр. (1, с. 177).

Историки медицины в исследованиях периода нэпа сосредоточивают свое внимание на фундаментальных задачах Советского государства по построению нового общества, в которые входило не только традиционное обеспечение порядка и стабильности, но и радикальное изменение населения – создание «нового человека». Отсюда особый интерес к медицинским практикам и наукам, имеющим прямое отношение к человеку и его жизни в социуме, которые вырабатывают определенные понятия о «норме» и отклонении от нее, – психиатрии, психологии, судебной медицине, сексопатологии, криминологии. Собственно, на материале этих наук и создавалось учение Фуко о «биовласти».

Согласно Фуко, история безумия в XVIII–XIX вв. должна сосредоточиваться не на изучении болезни и способов ее лечения, а на проблемах свободы и контроля, знания и власти. В его интерпретации, психиатры и психлечебницы являли собой инструменты репрессии, маскировавшиеся в либеральных демократиях XIX в. под орудие прогресса медицины. В советское время психлечебницы выступали в качестве репрессивных инструментов в самом прямом смысле этого слова, а не в том, как это понимал Фуко. Поскольку в 1970-е годы «психической нормой» было официально признано согласие с марксистско-ленинской идеологией и кодексом строителя коммунизма, диссидентство трактовалось как показатель утраты психического здоровья. В результате проблема оказалась слишком тесно связана с вопросами прав человека и в силу этого сильно политизирована. Возможно, поэтому зарубежные историки уделяли советской психиатрии недостаточно внимания. Помимо исследования И. Сироткиной, посвященного русской психиатрии 1880–1930-х годов (см.: Предисловие к настоящему сборнику), за последние десять лет появилась лишь одна работа – история советской военной психиатрии Пола Ванке (30). Его исследование не имеет отношения к идеям Фуко и основывается на достаточно традиционной структуре понятий о советской «репрессивности». Хотя автор поставил перед собой довольно узкую задачу – объяснить причины успехов советской военной психиатрии в годы Второй мировой войны, он дает небольшой очерк истории этой дисциплины в целом начиная с времен Московского царства.

Более строго, хотя и кратко, ход развития этой науки прослеживается в предисловии к сборнику «Безумие и помешанный в России» (21), посвященному отражению феномена душевной болезни в русской литературе и науке. В нем указывается, что в России, как и в других странах, психиатрия стала профессией со всеми ее атрибутами в конце XIX – начале XX в., тогда же, когда происходило становление очень многих дисциплин, связанных с изучением человека. Этот процесс пришелся на исключительно сложное для страны время, и в силу этого психиатрия оказалась особенно тесно связана с политикой. После революции 1917 г. ситуация в области диагностики душевного заболевания и социально отклоняющегося поведения еще усложнилась благодаря проекту по созданию «нового советского человека» – «волевого, оптимистического коллективиста». Здесь как нигде играло роль убеждение в том, что «здравая» среда является главным лекарством от психических отклонений, и революция, как считалось, должна была такую среду обеспечить. Однако население страдало теперь не только от «военных неврозов», которые начали диагностировать в годы Русско-японской войны, но и от общего нервного истощения после двух войн, голода и революционных потрясений 1914–1921 гг. В годы нэпа неожиданный рост количества самоубийств и преступлений на сексуальной почве заставил психиатров говорить о «трудностях переходного периода» (21, с. 12).

Зарубежные историки обратились к изучению институционализации в СССР таких специальных областей, как судебная медицина и криминология, психология и сексопатология (см. 2; 10; 11; 25). Однако в центре их исследований находится не столько история какой-либо научной дисциплины, сколько проблемы власти и контроля. Они изучают процесс выработки «нормы» судебными медиками, врачами-венерологами и криминалистами, перед которыми поставлена задача разграничить болезнь и преступление. Опираясь на обширные архивные материалы и опубликованные источники, в том числе прессу, К. Пиннуо исследовал феномен самоубийства в нэповской России (25). Избранный предмет исследования позволил автору проанализировать проблемы управления населением, которые в Советской России строились на началах строгой научности и рациональности. Поразившая страну в годы нэпа эпидемия самоубийств расценивалась, с одной стороны, как «социальная болезнь» и «индивидуалистическое» наследие старого режима, с другой – ставила серьезные практические вопросы о месте индивида в социалистическом обществе. Государство отре-

гировало на «эпидемию» организацией целого ряда институтов и комиссий, в том числе, как особо отмечает автор, способствовало созданию независимой от силовых структур судебной медицины и моральной статистики. В книге рассматривается круг вопросов, связанных с историей биосоциальных наук, и доказывается, что Советский Союз являлся не только «продуктом марксистской идеологии», но и продуктом современной веры в экспертное знание и принципы управления, сложившиеся в конце XIX – начале XX в., основанные на идеях Просвещения. Эта тема более подробно исследуется в уже рассматривавшейся выше книге Д. Биера.

По его наблюдению, после 1917 г. биомедицинские науки продемонстрировали «замечательную приспособляемость к парадигмам советского марксизма». В них было разработано вполне материалистическое понимание социума и взаимоотношений между индивидуумом и средой, а также создан синтез марксизма и теории вырождения. Анатомические признаки вырождения обнаруживались у преступников вполне в духе Ломброзо, но в то же время ученые настаивали на первенстве среды в формировании социальных отклонений. В частности, изучая хулиганство как социально-патологические явление, специалисты писали, что влияние среды из поколения в поколение приводит к радикальным биологическим изменениям в индивиде, в том числе к душевным болезням: «Так экономика пересекается с биологией» (1, с. 182).

В советское время, по мнению Биера, науки о человеке (в данном случае основное внимание он уделяет психологии, психиатрии и криминологии) выполняли определенную функцию. Криминологические и психиатрические теории преступности, которые разрабатывались в первые годы советской власти, во-первых, «санкционировали модернизационный проект режима, переложив существующие тогда идеологические страхи на язык науки»; во-вторых, они «указали на угрозу», которую представляли отдельные группы населения, неспособные адаптироваться к новому строю (1, с. 168). Занимаясь изучением новых реалий и перспектив обновления общества, науки о человеке выявляли новые объекты, которыми должны были заниматься медики и ученые. Они по-прежнему снабжали власть языком для идентификации и описания отклонений в поведении, признаваемых опасными для общества. Отличия от дореволюционной эпохи заключались в том, что этот язык служил, во-первых, практическим задачам режима по новой структуризации и классификации общества; во-вторых, чрезвычайно расширилась область его применения. Уже в первые десять

лет советская власть приступила к «дискурсивной стигматизации обширных областей экономической, социальной и политической деятельности», которая до революции была разрешена и даже поощрялась, а теперь признавалась преступной. В результате «отклонения» стали массовыми (1, с. 170).

Особенно большое значение в годы нэпа имела проблема адаптации к новому строю, которая приобрела классовое измерение. Психиатры стали доказывать, что потомки буржуазии являются биологически неполноценными, они несут в себе инстинкты своего класса и обязательно вступят в конфликт с представителями других классов. Более того, рассмотрение адаптации к новым условиям с классовых позиций позволило включить в круг проблем и политическую оппозицию режиму. С точки зрения психофизиологии индивида начинают проводить различие между теми, кто был способен адаптироваться «к очищающему огню революции» и кто – нет (в силу своей биологической конституции) (1, с. 188).

В оборот было введено понятие о «социально опасных» членах общества. Как отмечает Биер, этот концепт (и предложения выработать меры «социальной защиты») вошел в моду в Европе в 1900-е годы как в юридических кругах, так и среди психиатров. Эти предписания воплотились в двух первых кодексах нового социалистического государства 1922 и 1926 гг. Многие советские психиатры-кrimинологи приветствовали замену понятия «ответственности преступника» понятием «социальной опасности» как прогрессивный шаг. Соответственно, нарушения закона начали рассматривать как проявление биосоциальной болезни, которую следует лечить принудительно, силами государства (1, с. 194–195).

Биер отмечает, что большевики активно пользовались языком биомедицинских теорий. «Интеллектуально плодотворный» союз марксизма и биомедицинских наук имел центральное значение для дискурса, который соответствующим образом объяснял истоки социальных неустроев, моральных и идеологических отклонений и даже подрывной деятельности и предлагал средства для борьбы с ними. В то же время нельзя отрывать дискурс от контекста, предупреждает Биер, особенно при рассмотрении вопросов о применении социального насилия, в том числе «принудительного лечения», которое так приветствовалось большинством клиницистов. В первые десять лет большевики наряду со страхами по поводу наследия, полученного от старого режима, испытывали совершенно определенный оптимизм. Они верили в способность государства трансформировать общество, победив при помощи

науки неграмотность, высокую детскую смертность, бедность и невежество. И в этом контексте принуждение понималось экспертами как нечто не столько репрессивное, сколько терапевтическое. Довольно быстро принуждение превращается в инструмент переворки и перевоспитания, в результате чего должен быть создан новый гражданин (1, с. 196). Одно из самых ярких подтверждений открытого одобрения института ГУЛАГа в публичной культуре, пишет Биер, – специальный том, посвященный строительству Беломорканала и выпущенный под редакцией Максима Горького, полностью построенный на описываемом дискурсе «насильственной адаптации».

Совершенно иным публичный дискурс первых лет советской власти предстает в книге американской исследовательницы Т. Старкс (28). Он также сильно нагружен медицинскими терминами и метафорами, но автор обращается к позитивной его составляющей – идее борьбы за народное здоровье. Большевики получили не только слабое государство, но и большое население, пишет Т. Старкс. Именно поэтому один из ленинских лозунгов приравнивал борьбу за здоровье населения к борьбе за социализм. Причем, отмечает автор, забота о здоровье имела не только узкое практическое значение – необходимость восстановления разрушенной страны, но и несла большой идеологический заряд. В отличие от эксплуататорского капитализма, новое социалистическое государство обещало создать прекрасные условия жизни для трудящихся, и уже в 1918 г. Наркомат здравоохранения начал активную деятельность по улучшению здоровья и быта советских граждан (28, с. 3).

В центре внимания автора находится деятельность теоретиков и пропагандистов, которых она обобщенно называет «гигиенистами». Действительно, гигиена – новая наука, получившая свое развитие только в начале XX в., заняла в СССР исключительно важное место. И во многом благодаря тому, что во главе Наркомздрава в 1918–1930 гг. находился Н.А. Семашко. Он стал создателем первой кафедры гигиены в стране, да и вся его обширная деятельность по организации советской системы здравоохранения определялась задачами, которые и по настоящее время входят в круг интересов этой дисциплины: здоровое питание, охрана труда, жилищные условия и условия окружающей среды, гигиена детей и подростков, материнство, наконец, прикладной ее раздел – санитария. В отличие от описывавшейся выше теории вырождения, которая так сильно занимала российское общество начала XX в., озабоченное критикой «общественных язв», гигиена поставила своей задачей

не только изучать влияние факторов внешней среды на организм человека, но и оптимизировать благоприятные воздействия при одновременной профилактике воздействий неблагоприятных. Иными словами, в центре изучаемого Т. Старкс советского публичного дискурса в его медицинских проявлениях оказывается исключительно позитивный сюжет: физическое благополучие населения.

Однако, как замечает автор, само понятие гигиены несло в себе политические коннотации. Оно далеко выходило за рамки понятия здоровья и подразумевало «равновесие и рассудок», «душевную ясность» и упорядоченный образ жизни, что прямо соотносилось с упорядоченным же социальным поведением. В текстах советских гигиенистов, как и их современников – медицинских авторитетов во всем мире, – просматривались, по наблюдениям автора, прямые ассоциации с поддержанием политического порядка. Упорядоченная жизнь порождала здоровые тела и вела к созданию «политически просвещенного, продуктивного и счастливого населения», которое неизбежно сделает свой выбор в пользу социализма. Более того, «чистое тело» становилось материальным проявлением успеха социализма – социалистической утопии (28, с. 4).

Советское здравоохранение строилось на теоретических основаниях немецкой экономической теории камерализма с ее акцентом на контроле над населением в целях сохранения экономической и политической стабильности. Однако в России и затем в СССР утопические идеи, политические цели и иное понимание границ между частным и публичным привели к тому, что программы по оздоровлению применялись в гораздо более широких масштабах и проникали в жизнь людей глубже, чем где-либо. Жизнь человека, его дом, его тело, даже досуг рассматривались как дело общественное, и контроль занял центральное место в советской системе здравоохранения, которая, по замечанию Т. Старкс, была гораздо обширней, чем в других странах (28, с. 5–6).

Но в годы нэпа, на изучении которых сосредоточивается автор, бюджет Наркомздрава был более чем скромным, и его всеохватные программы реализовывались главным образом в пропаганде, которая почти ничего не стоила в условиях государственной монополии. Огромными тиражами выпускались брошюры и плакаты, не остались в стороне и детские писатели («Мойдодыр» был написан Чуковским в 1923 г.). «Битва за здоровье» оказалась скорее символической, чем принудительной, пишет Т. Старкс, указывая при этом, что степень влияния гигиенических кампаний невозможно измерить в потраченных рублях и количестве организованных ин-

ститутов. Фактически в ходе кампаний вырабатывались новые идеи о том, что собой представляют государственная власть, гражданственность, наконец, что означает революция. Сама концепция задуманных гигиенистами реформ утверждала первенство науки, необходимость применять в революционных действиях принципы рационализации, порядка и контроля. Идеи были «устойчивой валютой» в государстве, поставившем себе целью построить идеальное будущее, и гигиена стала важной составной частью идеологии (28, с. 6–7).

В книге отмечается, что понятия чистоты и грязи имели политические коннотации и часто использовались в политических целях («чистка», «очернение»). Таким образом, пропаганда гигиены и риторика, связанная со здоровьем, оказываются в центре революционного проекта. Как и в случае с другими «общественными язвами», такими как преступность, болезнь должна исчезнуть из жизни нового общества по мере улучшения социально-экономических условий. Автор подробно рассматривает историю здравоохранения в России и СССР параллельно с общеевропейскими тенденциями, останавливаясь на таких проблемах, как борьба с эпидемиями, создание сети диспансеров, консультаций и профилакториев, особенности медицинской практики в эпоху нэпа, различные формы санитарного просвещения, намного по своей массовости опередившего развитие страны. Санпросвет, по определению Т. Старкса, являлся в данном случае «оружием слабых» в государстве, ограниченном в средствах, при острой нехватке медицинского персонала (28, с. 69).

В главах, посвященных рекомендациям советских гигиенистов по поводу того, как организовывать культурный досуг, вести дом и семью, растить детей, показывается, что несмотря на революционные призывы к освобождению женщины, традиционные категории домашнего очага и гендерной иерархии сохраняли свое значение и вполне соответствовали траектории, которой следовали страны Западной Европы и Америки. Пожалуй, главное отличие, которое фиксируется автором, относится к категории телесности. Собственно, и само название книги «The body Soviet» отсылает нас к этой категории, поскольку английское слово «body» может означать тело физическое и политическое и потому несет в себе двойной смысл. По наблюдениям автора, «учет и контроль», который стал характерной чертой первых лет советской власти, особенно ярко проявился во власти над телом советского гражданина. Попытки советского санпросвета внедрить режим дня, рассчитанный

по минутам, включающий в себя 8-часовой сон, зарядку, 8-часовой рабочий день, обязательную прогулку и культурный досуг, означали, по мнению Т. Старкс, не что иное, как покушение на само тело гражданина. В том же ключе рассматривает она и усвоенный большевиками тейлоризм, вылившийся в движение за научную организацию труда (НОТ) под руководством А. Гастева.

Особое внимание в книге уделено механистическим метафорам телесности, столь широко распространенным в этот период в России. Как пишет Т. Старкс, в обществе, одержимом идеями прогресса и индустриализации, машина, этот символ современности, стала метафорой для усовершенствования человечества. Гигиенисты быстро подхватили ее и использовали «язык фабрик и заводов» в своей кампании по санитарному просвещению. Предполагалось, что в результате их усилий человек приобретет «правильные» привычки. И если он будет мыть руки перед едой, чистить зубы, заниматься физкультурой, придерживаться строгого режима труда и отдыха, а также диеты, это будет означать «триумф над биологией» с ее искушениями плоти и максимальное приближение к идеалу социалистической утопии (28, с. 200).

Действительно, в первое десятилетие советской власти «человеко-машинные» метафоры пронизывали публичный дискурс. Даже в исследованиях физиолога Павлова использовалась метафора телефонного коммутатора для объяснения его учения об условных рефлексах. В своих трудах он регулярно использовал образы, заимствованные из сферы техники, уподобляя процесс пищеварения «химической фабрике», да и сама его лаборатория в Институте экспериментальной медицины работала как гигантская «физиологическая фабрика» (см. 29).

Уподобление человека машине лежало в основе новой науки биомеханики, которую в Институте труда развивал психолог Н.А. Бернштейн. Хотя он и называл человека «живой машиной» и изучал физиологию движения на основе законов классической механики, одно из открытий, сделанное им в ходе серьезной экспериментаторской работы, относилось уже к области кибернетики. Он сравнил нервную систему человека не с телефонной станцией, а с сервомеханизмом, который работает по принципу обратной связи (8, с. 343–344). Изучение человека и его скрытых возможностей занимало центральное место в духовных исканиях революционной эпохи. Одна из проблем, которая волновала психиатров и общественное мнение – тайна гения, связанная также с проблемой нормы и безумия. Попытки выявить генетический код гения, обна-

ружить морфологические особенности его мозга и путем изучения органических патологий создать модель развития гения из «нормального человека» – такие утопические проекты были обычным делом в 1920-е годы (см. 14). «Революционные мечтания» и эпидемия экспериментаторства охватили буквально все сферы жизни Советской России.

Именно в общей атмосфере эпохи видит Н. Кременцов объяснение того взлета научно-фантастической литературы, которая в 1920-е годы шла рука об руку с наукой. Россия в первые послереволюционные годы стала «самой фантастической страной в современной Европе», приводит он слова Евгения Замятиня (20, с. 9). Экспериментальная биология и медицина вдохновили многих писателей и журналистов, так же как и врачей и ученых, на написание художественных и публицистических произведений, в которых муссировалась проблема омоложения и бессмертия. В монографии Н. Кременцова «Марсианин, заброшенный на Землю» (20) это столь специфическое слияние науки и фантастики, замешанное на революционном мечтательстве, рассматривается на примере жизни и творчества Александра Александровича Богданова (1873–1928), что позволяет проанализировать характерные особенности развития биомедицинской науки в СССР в 1920-е годы.

Член РСДРП с 1896 г., А.А. Богданов (настоящая фамилия Малиновский) известен в нескольких ипостасях: как старый большевик с дореволюционным стажем, член ЦК, соратник В.И. Ленина (и главная мишень его критики в книге «Материализм и эмпириокритицизм»), автор популярного учебника политэкономии и ряда работ по марксистской философии, один из вождей Пролеткульта и основатель новой науки «тектологии»; как литератор, автор двух весьма популярных научно-фантастических романов-утопий, действие которых происходит на Марсе: «Красная звезда» (1908) и «Инженер Мэнни» (1911); наконец, как ученый-естественник. В 1921 г. Богданов всерьез занялся естественно-научными исследованиями в области гематологии и геронтологии и в 1926 г. возглавил созданный фактически «под него» Московский институт переливания крови.

В монографии Н. Кременцова все эти ипостаси связываются воедино. Автор прослеживает, как переплетались, взаимодействовали и взаимно усиливали друг друга на протяжении всей жизни Богданова «три его призвания» – революционный марксизм, литература и наука, причем науке Кременцов придает «системообразующее значение». Собственно, идеи о том, что должна представ-

лять собой новая пролетарская наука, занимали центральное место и в философских работах Богданова, и в его научно-фантастических романах, и в его деятельности в Пролеткульте. Они формировали его личные научные интересы, вдохновляли на эксперименты с переливаниями крови для того, чтобы повысить жизнеспособность стареющих организмов. И в конечном итоге они же предопределили «провал его исследовательской программы» (20, с. 5).

С самого начала, отмечает Н. Кременцов, в мировоззрении Богданова, окончившего медицинский факультет Харьковского университета в 1899 г., присутствовала сильная биологическая составляющая, которая проявлялась не только в его размышлениях о взаимодействии между социальной революцией и биологической эволюцией, но и в мечтах о «физиологически объединенном» человечестве. В своем первом научно-фантастическом романе «Красная звезда» Богданов, описывая коммунистическое общество на Марсе, обращается и к достижениям марсиан в медицине. Для повышения жизнеспособности марсиане практикуют обмен кровью между человеческими существами, старым и молодым. Это ведет исключительно к взаимному обогащению: старик передает молодому накопленный иммунитет, получая, в свою очередь, жизненную силу, энергию и гибкость, свойственную молодости. Такой «товарищеский обмен жизни не только в идеином, но и в физиологическом существовании» нес массу позитивных для революционера-конспиратора коннотаций и лег в основу концепции «физиологического колLECTивизма», которая нашла отражение в фундаментальном философском труде Богданова «Тектология».

Три тома «Тектологии», или «всеобщей организационной науки», были опубликованы в течение 1913–1922 гг.; ее идеи в популярной форме Богданов изложил в романе «Инженер Мэнни» (1913), продолжении утопии «Красная звезда». Слабый в литературном отношении роман, куда менее интересный рядовому читателю, представляет собой квинтэссенцию взглядов Богданова на историческую эволюцию как последовательную смену формаций от феодализма к капитализму и затем к социализму. Но фактически, пишет Н. Кременцов, это беллетристизированный марксистский анализ буржуазной культуры и науки (20, с. 50). Здесь впервые представлена концепция «пролетарской науки», в которой наука буржуазная выступает в качестве антитезы. Она служит интересам капиталистов и сама становится инструментом угнетения пролетариата. Устами марсианки Нетти писатель-революционер Богданов провозглашает, что при капитализме наука «ослеплена» идеали-

стическим мировоззрением и быстро превращается в «чистую», теоретическую, оторванную от жизни. Капитализм извращает не только цели науки («ошибочно» считая, что их составляют идеи и открытия), но и самую ее сущность, ведя к ее раздроблению на множество специальностей, которые вырабатывают свой собственный «эзотерический» язык, делающий науку недоступной для непосвященных, т.е. прежде всего пролетариата.

По мнению Богданова, пролетариат нуждается в собственной науке, простой, доступной, коллективистской по форме и содержанию, которая гораздо теснее связана с «трудом» – непосредственным производством, чем «теоретическая» буржуазная наука. Работая над созданием такой пролетарской науки, марсиане в романе Богданова начинают свой первый крупный проект – создание «Рабочей энциклопедии», которая должна сыграть важную роль в подготовке социалистической революции (20, с. 51). В жизни, отмечает автор монографии, Богданов последовал по пути своего персонажа, инженера Мэнни. Он писал и публиковался по вопросам философского осмысления науки, однако начавшаяся Первая мировая война на время прервала его деятельность. Будучи призванным на фронт по своей официальной специальности, Богданов дважды был комиссован по причине нервного срыва и только в 1916 г., получив относительно «мирный» пост инспектора по делам военнопленных в Московской губернии, сумел вернуться к теоретической работе и завершить второй том «Тектологии», опубликованный им на свои средства в 1917 г. После Февральской революции он с головой погрузился в культурную работу в Москве, не участвовал в Октябрьской революции (с 1911 г. он отошел от политической деятельности) и даже отклонил предложение о сотрудничестве своего шурина А.В. Луначарского. Вместо этого Богданов принял активное участие в Пролеткульте и выдвинул идею организации «пролетарских университетов» и подготовки «Рабочей энциклопедии». В годы Гражданской войны он много работал, читал лекции в Социалистической академии, писал статьи по вопросам науки и социалистического строительства, не забывая, однако, своей идеи о «физиологическом сопряжении» и связанной с ней возможности омоложения путем переливания крови. Однако, пишет Н. Кременцов, ничто не предвещало того, что Богданов решит применить свои идеи о «товарищеском обмене жизни» на практике (20, с. 54–55).

Тот факт, что Богданов возглавил Институт переливания крови, Кременцов считает исторической случайностью, следствием

стечения обстоятельств. Первым из них было знакомство Богданова с книгой англичанина Дж. Кейнса (младшего брата знаменитого экономиста) во время его поездки в Лондон зимой 1921–1922 гг. Поездка была предпринята в разгар борьбы с оппозицией по приглашению наркома торговли Л.Б. Красина, понимавшего опасность ситуации. Буквально в первые дни в Лондоне Богданов и наткнулся на только что изданную книгу «Переливание крови», в которой автор обобщил свой опыт военного хирурга и дал обзор новейших достижений в этой области. Книга быстро стала «библией» для Богданова, вдохновив его на дальнейшую разработку идей, которые вылились в целостную концепцию «физиологического колlettивизма», основанного на «разрушении границ физиологической индивидуальности» и создании нового «физиологического единства». Но, пишет Кременцов, идеи перешли в практическую плоскость: в Англии Богдановым было закуплено необходимое для переливания крови оборудование (20, с. 57–58).

Первые эксперименты начались зимой 1924 г. и проводились, в соответствии с законами конспирации, в узком кругу единомышленников. В них участвовали жена, Наталья Корсак, врачи Малолетков, Соболев, Гудим-Левкович и несколько студентов. О существовании группы Богданова в течение двух лет знали только избранные, в том числе Л.Б. Красин, который сыграл большую роль в последующем развитии событий. В конце 1925 г. у Красина было обнаружено тяжелое заболевание крови, от него фактически отказались кремлевские врачи, а положительные результаты экспериментов Богданова вселяли хоть какую-то надежду. Действительно, после проведенного переливания состояние Красина значительно улучшилось, он уехал отдохнуть на юг Франции, а слухи о его «чудесном исцелении» распространились в кругах московской партийной элиты и дошли до Сталина. В результате в кратчайшие сроки и был организован институт, создания которого специалисты напрасно добивались у Наркомздрава в течение нескольких лет. В бывшем доме купца Игумнова (Якиманка, 43, ныне – резиденция посла Франции. – *Реф.*) после капитальной реконструкции разместились несколько учреждений, имевших непосредственное отношение к советской элите – Институт переливания крови, Лаборатория для изучения мозга Ленина и советско-германская лаборатория расовой патологии.

Быстро принятия этого решения способствовали следующие обстоятельства. Во-первых, в 1923–1925 гг. партийную и бюрократическую элиту охватила настоящая эпидемия смертей и болезней,

которые относили за счет «революционного истощения и изнашивания организма» – «профессиональных болезней коммунистов» (20, с. 61). Во-вторых, идея омоложения, которую продвигал и проверял на практике Богданов, обрела к тому времени колоссальную популярность. Изучение процессов старения человека и способов борьбы с ним началось еще в 1880-е годы, с подъемом экспериментальной биологии и медицины. В России широко пропагандировались методы одного из отцов-основателей иммунологии И.И. Мечникова, который не только предложил «простое средство» против старения (мечниковскую простоквашу), но и изобрел сам термин «геронтология». На протяжении первых десятилетий XX в. исследователи выдвинули несколько теорий старения, которые внесли большой вклад в развитие биомедицинских наук. Однако публику привлекали «простые средства», и исследования австрийских и французских физиологов начала 1920-х годов сумели таковые предоставить. Речь шла об экспериментах по пересадке половых желез, сообщения о которых появились в широкой печати и произвели фурор. В научных кругах СССР идея была подхвачена и широко популяризовалась, начались и эксперименты в этой области. В печати, включая «желтую прессу», теме омоложения посвящались статьи, фельетоны и карикатуры. События разворачивались буквально «по Булгакову». В частности, Наркомздрав учредил собственный обезьяний питомник для производства трансплантационного материала (20, с. 81).

Конечно, омоложению в СССР могли подвергнуться исключительно «самые ценные» члены общества. По наблюдениям Кременцова, забота о здоровье высокопоставленных большевиков обеспечивала покровительство целому ряду дисциплин. В частности, заболевание щитовидной железы, которым страдала Н.К. Крупская, привело к развитию советской эндокринологии (20, с. 115). Тем не менее создание Института переливания крови с Богдановым в качестве директора и небольшим штатом, основу которого составил кружок его единомышленников, не привело к активизации практической деятельности. За первый год институт отчитывался в основном теоретическими работами самого Богданова (книга «Борьба за жизнеспособность») и не спешил создавать курсы для обучения врачей. А в апреле 1928 г., в ходе эксперимента по обмену кровью со студентом, больным туберкулезом, Богданов умер. Его идеи по омоложению человека и тем более по созданию «физиологически объединенного» человечества не пережили своего автора, замечает Н. Кременцов. Они имели мало общего с нуждами партийного

аппарата, озабоченного состоянием здоровья своих членов, так же как и с планами советских врачей по внедрению процедуры переливания крови в клиническую практику и созданию института донорства в СССР. Более того, через несколько месяцев после смерти Богданова состоялось специальное заседание Общества врачей-материалистов, посвященное критике его теории физиологического коллективизма. В то же время другие проекты по омоложению продолжали поддерживаться государством и в 1930-е годы (20, с. 116).

Н. Кременцов отмечает такую характерную особенность теоретизирования Богданова, как полное отсутствие реализации его идей на практике. Несмотря на многочисленные призывы «поставить науку на службу социалистическому производству» и отбросить теоретическую «буржуазную» науку, сам Богданов ограничился в своей деятельности несколькими экспериментами, проведенными в узком кругу товарищей-единомышленников. Это плохо сочеталось с его размышлениями о пролетарской науке и роли в ней естественных наук. Да и сам он не имел представления о том, как проводятся эксперименты в лабораторных условиях; его методы, по отзывам специалистов, принадлежали к XV, а не к XX веку (20, с. 117–118).

Оценивая причины столь быстрой «смерти идеи», практически совпавшей со «смертью героя», Кременцов обращается к анализу теоретического наследия Богданова (и его практических опытов) с точки зрения соответствия принятым в современной науке нормам. Во-первых, он обращает внимание на полное отсутствие ссылок на труды отечественных специалистов в области трансфузиологии и гематологии. Между тем, как показано в книге, эти дисциплины достаточно активно развивались в России / СССР. Интересно, что, судя по ссылкам, свои сведения об экспериментальной биологии и медицине Богданов черпал в основном из научно-популярных изданий – таких, как журнал «Природа». Во-вторых, сам язык трудов Богданова, публицистический и нарочито примитивный, предназначенный «для профанов», отвращал от них серьезных специалистов. Известно, что через несколько лет, в годы сталинской «революции сверху», фельетонный стиль получит широкое распространение в научных дискуссиях, пишет Н. Кременцов (20, с. 122–123).

Практическое наследие Богданова в области переливания крови сводится к тому, что он, не прилагая особых усилий, создал институт, который через несколько лет (и уже в других руках) превратился в центр по созданию новой советской системы донорства,

ориентированной на массовую практику. Однако в том, что касается советской науки в целом, марксистская концепция Богданова, по мнению автора монографии, принесла свои плоды, заложив основы официальной научной политики 1930–1950-х годов и последующего времени. Прежде всего речь идет об инструменталистском видении науки как производительной силы. В 1930-е годы «практическая польза» становится главным критерием для оценки научной деятельности в Советской России. Превратившись в ключевой элемент официального «марксистского» подхода к науке (и став составной частью риторики ученых в их общении с государством), понятие «практической пользы» проложило дорогу лысенковщине. Колхозные «хаты-лаборатории» Трофима Лысенко автор называет воплощением богдановской идеи об «упрощенной и обобщенной» пролетарской науке, доступной любому человеку с самым элементарным образованием. Решение вопроса о том, почему советская медицина (в частности, трансфузиология) сумела перерести представления Богданова о пролетарской науке, а советская биология (в особенности генетика) стала жертвой «пролетарской агробиологии» Лысенко, Н. Кременцов оставляет будущим исследователям (20, с. 126).

Хотя автор явно не ставил своей задачей развенчать Богданова, на страницах его книги возникает образ марксиста-графомана и доморощенного экспериментатора, который на самом деле является типической фигурой для СССР 1920-х годов. И в чем-то даже прототипической, поскольку – здесь Н. Кременцов все же делает вполне определенные указания – в ней просматриваются черты, которые проявляются у будущих погромщиков генетики (и не только генетики). Но в первой половине 1920-х годов их время еще не пришло, и энтузиасты-самоучки были тогда явлением вполне позитивным, придавая свой особый колорит научной атмосфере тех лет.

Однако научная среда эпохи нэпа не исчерпывалась персонажами, подобными Богданову и его младшим товарищам из рабоче-крестьянской среды. В статье Ивонн Хоуэлл (15) фигурируют портреты еще двух представителей медицинской науки: это незабвенный профессор Филипп Филиппович Преображенский и его молодой соратник и ученик доктор Борменталь. Автор препарирует текст Булгакова, с тем чтобы извлечь рациональное зерно из его блестящей Менипповой сатиры и реконструировать реальное положение вещей, а именно – показать разные научные подходы к человеку, воплотившиеся в литературных персонажах всем известной повести. Используя считавшийся прежде нелегитимным вид

источника, но одновременно привлекая большой массив других опубликованных текстов, включая прессу и медицинскую литературу тех лет, И. Хоуэлл анализирует «Собачье сердце» как «блестящее исследование… усилий по улучшению человечества». Фактически, утверждает она, повесть Булгакова посвящена созданию «нового советского человека», и фоном, на котором разворачивается действие (и его исследование в статье Хоуэлл), служит «взлет и падение российского евгенического движения 1920-х годов». В центре внимания автора находится так называемый «спор о природе и воспитании» (nature/nurture debate), т.е. о том, что является определяющим в формировании человека – врожденные качества или среда. Иными словами, на литературном материале в статье анализируется взаимодействие науки, политики и идеологии – проблематика вполне традиционная для историков советской науки.

После того как революция свершилась и страна приступила к строительству нового социалистического общества, ее руководителям стало ясно, что в этом обществе должны жить особые люди, которые психологически, физически и в культурном отношении были бы ему конгениальны, пишет автор. В соответствии с духом эпохи ставился вопрос, как этого достичь в пределах одного поколения и как создать нового человека из имеющегося «человеческого материала» – учитывая столетия рабства и эксплуатации, которым подвергалось население. Первоначально казалось, что биология указывает в том же направлении, что и большевизм, замечает автор. В этот период приобретает особую популярность новая наука евгеника, основателями которой были представители дореволюционного поколения, обучавшиеся в Европе сторонники фундаментальных генетических исследований, опирающихся на законы Менделя. Но на самом деле они были далеки от того, чтобы предлагать какие-то конкретные рецепты. Серьезно изучая проблемы хромосомной наследственности, они говорили, что «улучшение человеческой породы» – дело отдаленного будущего.

Такое положение дел, естественно, не устраивало большевиков, но перед тем, как быть уничтоженной, пишет автор, евгеника подверглась вторжению «молодых марксистов», которые раскритиковали «буржуазных теоретиков», больше интересующихся мушками-дрозофилами, чем усовершенствованием пролетариата. Они исповедовали неоламаркизм, настаивая, что благоприятные социальные условия способны вызвать возникновение положительных свойств у человека, которые могут наследоваться последующими поколениями. Однако, пишет И. Хоуэлл, к 1930 г. евгеника была

заклеймена как «вредное заимствование с Запада», и в соответствии с утвердившейся в это время интерпретацией марксизма-ленинизма человек стал рассматриваться исключительно как продукт воспитания; получает широкое распространение идея о крайней эластичности человеческой природы и податливости человека любым социальным воздействиям. Такие взгляды продержались, по мнению автора, вплоть до коллапса Советского Союза в 1991 г. (15, с. 548).

Но в период нэпа обе точки зрения, а точнее, парадигмы, уживались и соперничали между собой. На их основе вырабатывались разные теории, объясняющие человеческое поведение, что ставило политический вопрос о создании нового человека в центр научных и публичных дискуссий и значительно усложняло его решение. Таким образом, повесть Булгакова, пишет автор статьи, явила собой «реакцию на один из самых захватывающих, интеллектуально стимулирующих и политически сложных вопросов того времени: евгенический эксперимент» (15, с. 549). Булгаков поместил двух своих героев на разные концы спектра современной ему биосоциальной мысли, но кроме того предоставил возможность звучать и другим голосам, каждый из которых, по словам автора, воплощал мнения, важные для «диалога о природе и воспитании» (там же).

В чистом виде «биологический» подход к человеческой природе, который не оставлял надежд на ее радикальную трансформацию, излагается голосом пса Шарика. Доктор Борменталь представляет неоламаркистскую точку зрения, которая связывает воедино поступательную эволюцию и позитивные изменения социальной среды. Профессор Преображенский выступает в романе как выразитель взглядов ученых-генетиков: эволюционные изменения являются результатом случайных беспорядочных мутаций. Но в то же время он – приверженец евгеники, точнее, того ее варианта, который опирается на экспериментальные достижения биологии. Фраза профессора об «улучшении человеческой породы» – прямая цитата из Н.К. Кольцова, директора Института экспериментальной биологии, председателя Русского евгенического общества, который так озаглавил свою инаугурационную статью 1920 г.

Все три точки зрения, продолжает Хоуэлл, приходят в прямое столкновение с догматическими взглядами сторонников «социального» подхода к человеку и его поведению, носителями которого выступают молодые коммунисты – члены домового комитета. Человек для них – *tabula rasa*, на которую его окружение – семья, сверстники, школа и другие социальные институты, наконец, фи-

зические условия существования – «заносят его склонности, особенности поведения, систему ценностей» (15, с. 550).

Собственно говоря, одним из способов, каким русские интеллектуалы могли бы придать дарвиновской эволюции позитивную цель, как раз и было применение неоламаркистских идей о наследовании приобретенных признаков. Шариков у Булгакова действительно унаследовал целый ряд признаков Клима Чугункина, включая умение играть на балалайке, склонность к пьянству и другие привычки только что урбанизированного крестьянина, пишет Хоуэлл. Таким образом, Булгаков ставит под вопрос обещанные евгеникой перспективы улучшения пролетариата. Именно такой аргумент был выдвинут одним из отцов-основателей русского евгенического движения Ю.А. Филипченко в его памфлете против ламаркизма. И как раз такие соображения и способствовали гибели неоламаркистской евгеники в Советском Союзе (15, с. 550).

Автор затрагивает и другие популярные в России начала XX в. идеи и теории, в частности теорию «криминальных типов» Чезаре Ломброзо. Эта тема неизбежно возникает при описании внешности Клима – «нового советского человека», с его низким лбом, заросшим волосами, и прочими «атрибутами вырождения». Повальное увлечение омоложением в эпоху нэпа нашло отражение в занятии профессора Преображенского, которое, собственно, и приносит ему основной доход, позволяет жить на широкую ногу и проводить смелые эксперименты во славу науки. С другой стороны, спрос на операции по омоложению можно рассматривать как отражение общей атмосферы упадка и страха перед разложением (15, с. 557).

Идея о том, что общество нуждается в «улучшении», в первое послереволюционное десятилетие была распространена повсеместно и оставила свой след буквально на каждой научной дисциплине. Генетики искали механизмы наследственности и секреты передачи «хороших» качеств; физиологи переместили свое внимание с изучения собак на исследование высшей нервной деятельности людей; психиатры открыто обсуждали возможность создания «питомников для гениев», чтобы защитить тонкую психику самых выдающихся людей. Даже геохимики, возглавляемые Вернадским, развивали утопическую концепцию ноосферы, пишет автор. В этом контексте профессор Преображенский видится в ином свете, отнюдь не в качестве фигуры «сумасшедшего ученого». Научно-фантастический пласт повести Булгакова соотносится с очень реальным миром научных дебатов, которые занимали интеллектуалов, чиновников от здравоохранения и политиков в нэпов-

ской Москве. Профессор Преображенский – гиперболизированный портрет современников Булгакова в научном мире, для которых исследование наследственности и философская цель улучшения человечества посредством науки вовсе не противоречили друг другу.

По мнению И. Хоуэлл, медицинский эксперимент профессора Преображенского не имеет смысла вне контекста ранней эндокринологии и теорий омоложения. Фантазии о всемогуществе эндокринной системы ставили под вопрос веру в верховную власть мозга, и замена гипофиза, который руководит работой эндокринных желез, в данном случае выступает как отражение этих идей. Операция продемонстрировала, что человек действительно может быть трансформирован, но с какой целью? Преображенский не видит нужды в искусственном создании «высокоразвитого человека», поскольку любая крестьянка может родить Ломоносова, и природа регулярно производит гении, «выбирая их из отбросов». По его мнению, человеческий род нельзя улучшить путем частичных операций, трансформирующих одного индивида. Не может он быть трансформирован и посредством насилиственных социальных мер, которые улучшают среду (15, с. 561).

Атмосфера экспериментаторства и живых интеллектуальных дискуссий закончилась в Советской России вместе со сворачиванием нэпа. Собственно, именно этому интересному периоду посвящено подавляющее большинство монографических исследований биомедицинских наук, подготовленных в последние десять лет зарубежными русистами. В них показывается, что в ходе культурной революции закрывались институты, менялся статус многих научных дисциплин. Гигиенисты во главе с Семашко были «вычищены» из Наркомздрава, на смену им пришли чиновники с партийным стажем, которые сократили затраты на здравоохранение и сделали его «классово ориентированным» (28, с. 204–205). Примерно те же процессы произошли в советской криминологии и судебной медицине (1; 25). Богданов погиб настолько вовремя, что поговаривали о самоубийстве и даже об убийстве: его смерть подвела символическую черту под эпохой энтузиастов-любителей. Евгеника не просто прекратила свое существование, но в конце 1930-х годов была признана «фашистской наукой».

Зарубежные историки науки характеризуют 1930-е годы как эпоху бюрократизации, сужения научных горизонтов, торжествующего утилитаризма, усиливающейся научной изоляции. Но в то же время целый ряд интересных публикаций, посвященных главным образом межвоенному периоду, учитывает международный

контекст. В работах Д. Хоффмана рассматриваются «интервенционистские практики» советского государства, включающие в себя политику по социальному обеспечению, систему здравоохранения, репродуктивную политику, направленную на повышение рождаемости, которые лежали в русле общемировых тенденций (12).

Интерес представляет совместная работа Д. Хоффмана и А. Тимм, являющаяся главой в сборнике «За пределами тоталитаризма» (13). В ней проводится сравнение между репродуктивной политикой СССР и Третьего рейха. На первый взгляд, пишут авторы, СССР и нацистская Германия были во многом похожи: активное прославление материнства и идеи о социальной помощи со стороны государства позволяют предположить, что имела место тоталитарная тенденция интегрировать в государственные проекты частную сферу. Однако различия намного перевешивают подобия и указывают на то, насколько политика повышения рождаемости была переплетена с более широкими идеологическими целями государства (13, с. 87–88). В главе отмечается, что хотя оба режима стремились переделать общество и «переписать либеральный общественный договор в соответствии с нелиберальными, но модернистскими целями», сущность их проектов была глубоко различной. В гитлеровской Германии утвердился проект о мировом господстве арийской расы. В СССР во главу угла был поставлен значительно более универсалистский по своему характеру проект создания бесклассового социалистического общества – модели для будущего освобождения всего человечества. Разные цели в соединении с громадными различиями в социально-экономической структуре способствовали выработке достаточно несхожей политики в области поощрения рождаемости.

Авторы выделяют три фундаментальных различия между СССР и нацистской Германией: в отношении к существующим институтам, в подходе к евгенике и в гендерных нормах. Если нацистский режим опирался на уже существующие бюрократические структуры развитого индустриального общества в области здравоохранения и социального страхования, то Советы фундаментально перестраивали унаследованную от царской России политическую структуру и насилиственно ускоряли процессы индустриализации и урбанизации. В отличие от Германии (и других европейских стран), в СССР евгенику не смогли согласовать с правящей идеологией; в результате ее сочли «фашистской наукой», что имело радикальные последствия для политики в области рождаемости. Наконец, прославление материнства и порицание гомосексуализма

в обеих странах не подразумевали одинакового подхода к модели семьи: в Германии нормой считалась семья с одним кормильцем, в то время как в СССР «освобожденная женщина» работала наравне с мужем (13, с. 89–90).

В главе отмечается, что политика управления рождаемостью имеет давнее происхождение и не является изобретением тоталитарных режимов. Людские потери в годы Первой мировой войны поставили вопрос повышения рождаемости на повестку дня во всех европейских странах, и хотя в России высокая рождаемость сохранялась и в XX в., тем не менее советские чиновники и специалисты-демографы с началом индустриализации и коллективизации всерьез занялись этой проблемой. Острота ее усиливалась распространением социал-дарвинистских идей о международном соперничестве и борьбе наций за физическое выживание, что выдвигало на первый план проблему здоровья населения. Эти идеи были популярны в Европе, но особенно сильны в веймарской, а затем в нацистской Германии, где во главу угла было поставлено не только количество, но и качество населения. В отличие от нацистской Германии советское руководство рассматривало международное соперничество в идеологическом, а не биологическом или расовом ключе. Считалось, что высокий уровень рождаемости в многонациональном СССР будет демонстрировать превосходство социализма и способствовать его распространению на другие страны мира (13, с. 96).

Несмотря на риторику, провозглашавшую рождение детей гражданским долгом каждого, советская политика, сводившаяся к пропагандистским и стимулирующим мерам, а после 1936 г. включившая в себя и запрет на аборты, оставалась «достаточно безобидной» по сравнению с немецкой. Советское правительство отнюдь не стремилось ограничить репродукцию для какой-либо категории своих граждан и отвергало евгеническую стерилизацию, практиковавшуюся не только в нацистской Германии, но также в Скандинавских странах и в США. В этом отношении советский случай был ближе всего к католическим странам Западной Европы – Франции, Италии, Испании и Португалии, заключают авторы (13, с. 128–129).

Опубликованы и другие работы, освещающие историю биомедицинских наук в СССР в международном контексте; взаимодействию Советского Союза и Германии в области медицины в межвоенный период посвящена фундаментальная монография, изданная под редакцией Сьюзен Гросс Соломон (7). В трудах

Н. Кременцова исследуется история поисков в СССР лекарства от рака, которые проводились в тесном взаимодействии с американской стороной (19), и история развития генетики в 1920–1930-е годы во всем мире, причем советской науке отведено в монографии ведущее место (18). В центре внимания автора находится история подготовки Всемирного конгресса генетиков, который планировалось провести в Москве в 1937 г. и который был в результате перенесен в Лондон. Все это, так же как и растущее внимание к международному контексту в работах, посвященных «внутренним» проблемам, свидетельствует о том, что современный транснациональный подход обретает вес в зарубежных исследованиях советской медицины и других наук о жизни.

Основные тенденции в изучении медицины и связанных с ней наук можно проследить по уже упоминавшемуся сборнику «Советская медицина» (27), в котором представлены актуальные сегодня для зарубежной русистики исследовательские парадигмы. В центре внимания находятся подходы, получившие свое развитие в ходе постколониального поворота и распространения гендерных исследований.

В сборнике отмечается, что зарубежные исследователи посвятили много работ вкладу британской и французской медицины в «проект империализма». Они проследили, как программы оздоровления европейских городов были затем применены в колониях с определенными модуляциями в отношении колонизаторов и колонизуемых. Колонизаторы принесли с собой научный метод и «врачебный взгляд», и в результате их деятельности возникли новые дисциплины, такие, как, например, тропическая медицина (27, с. 9).

В применении к советскому опыту постколониальный подход был использован в монографии Паулы Майклз о Средней Азии (21), а в статье Д. Михеля, посвященной борьбе с чумой в астраханских степях в 1917–1925 гг., доказывается тезис о «внутренней колонизации» (22). Эти работы в полной мере отражают идеи о «цивилизаторской миссии», которую выполняли советские врачи, занимаясь борьбой с эпидемиями в регионах, населенных азиатскими народами. В то же время такие авторитетные ученыe, как С. Соломон, не разделяют представлений своих молодых коллег о непременно «империалистическом» взгляде иностранцев на «отсталое» население бывших окраин Российской империи. В своей статье о немецком ученом-медике М. Кучинском, путешествовавшем по киргизской степи, Соломон демонстрирует приоритет науки над политикой, который нашел отражение в трудах последнего (26).

Другой аспект проблемы «эксперты и власть», а точнее – «врачи и советский режим радикальной медикализации», рассматривается в статьях о врачебной этике и выработке норм в связи с ответственностью за преступления на сексуальной почве (3; 11). Проявления «биовласти» в годы социалистического строительства анализируются М. Дэвидом на материале вакцинации против туберкулеза (6). Модель «массового оздоровления» при помощи прививки БЦЖ была импортирована из Франции и смогла реализоваться, как подчеркивается в статье, только благодаря усилиям энтузиастов на периферии. В наибольшей степени биовласть государства реализовалась в законодательстве, касающемся рождаемости, материнства и детства. Миа Накачи исследовала дебаты по поводу абортов, запрещенных в 1936 г. (24). В условиях огромных людских потерь в годы войны государство в рамках нового Семейного кодекса 1944 г. поощрило неполную семью и рождение детей вне брака, что, однако, не сняло остроты проблемы.

Еще одной новацией последних лет является обращение историков к периоду 1960–1970-х годов, который ранее изучался социологами и политологами. Такие важные для советской дисциплины профессиональных заболеваний вопросы, как влияние промышленных выбросов на здоровье населения, рассматриваются в статье Криса Бертона о дебатах специалистов во время правления Хрущёва (4). Большой интерес представляет работа британской исследовательницы Катрионы Келли, написанная на основе интервью, взятых в 2000-е годы (16). Вспоминая свое детство, ее информанты с большим теплом отзываются о врачах своего детства. В их представлении советская медицина составляет, пожалуй, главный фундамент, самую привлекательную линию брежневского социализма. Они проводят четкую разделительную черту между «анонимной государственной машиной» и доктором, который проявлял к ним теплоту и заботу, что так контрастирует с современным положением в постсоветской России.

## Список литературы

1. *Beer D.* Renovating Russia: The human sciences and the fate of liberal modernity, 1880–1930. – Ithaca: Cornell univ. press, 2008. – IX, 229 p.
2. *Bernstein F.L.* The dictatorship of sex: Lifestyle advice for the Soviet masses. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2007. – XVII, 246 p.

3. *Bernstein F.L.* Behind the closed door: VD and medical secrecy in early Soviet medicine // Soviet medicine: Culture, practice, and science / Ed. by Bernstein F.L., Burton C., Healey D. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – P. 92–110.
4. *Burton C.* Destalinization as detoxification?: The expert debate on industrial toxins under Khrushchev // Soviet medicine: Culture, practice, and science / Ed. by Bernstein F.L., Burton C., Healey D. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – P. 236–255.
5. *Conroy M.S.* Medicines for the Soviet masses during World War II. – Lanham: Univ. press of America, 2008. – XIV, 256 p.
6. *David M.* Vaccination against tuberculosis with BCG: A study of innovation in Soviet public health, 1925–41 // Soviet medicine: Culture, practice, and science / Ed. by Bernstein F.L., Burton C., Healey D. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – P. 132–154.
7. Doing medicine together: Germany and Russia between the wars / Ed. by Solomon S.G. – Toronto: Univ. of Toronto press, 2006. – XVII, 533 p.
8. *Gerovitch S.* Love-hate for man-machine metaphors in Soviet physiology: From Pavlov to «physiological cybernetics» // Science in context. – 2002. – Vol. 15, N 2. – P. 339–374.
9. *Haber M.* Concealing labor pain – the evil eye and the psychoprophylactic method of painless childbirth in Soviet Russia // *Kritika*. – Bloomington, 2013. – Vol. 14, N 3. – P. 535–559.
10. *Healey D.* Bolshevik sexual forensics: Diagnosing disorder in the clinic and courtroom, 1917–1939. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2009. – X, 252 p.
11. *Healey D.* Defining sexual maturity as the Soviet alternative to an age of consent // Soviet medicine: Culture, practice, and science / Ed. by Bernstein F.L., Burton C., Healey D. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – P. 111–131.
12. *Hoffmann D.L.* Cultivating the masses: modern state practices and Soviet socialism, 1914–1939. – Ithaca, N.Y.: Cornell univ. press, 2011. – XIV, 327 p.
13. *Hoffmann D.L., Timm A.F.* Utopian biopolitics: Reproductive policies, gender roles, and sexuality in Nazi Germany and the Soviet Union // Beyond totalitarianism: Stalinism and Nazism compared / Ed. by Geyer M., Fitzpatrick Sh. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2009. – P. 87–129.
14. *Howell Y.* The genetics of genius: V.P. Efroimson and the biosocial mechanisms of higher intellectual activity // Madness and the mad in Russian culture / Ed. by Brintlinger A., Vinitsky I. – Toronto: Univ. of Toronto press, 2007. – P. 208–225.
15. *Howell Y.* Eugenics, rejuvenation, and Bulgakov's journey into the heart of dogness // Slavic review. – Urbana, 2006. – Vol. 65, N 3. – P. 544–562.
16. *Kelly C.* White coats and tea with raspberry jam: Caring for sick children in late Soviet Russia // Soviet medicine: Culture, practice, and science / Ed. by Bernstein F.L., Burton C., Healey D. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – P. 258–281.

17. *Kowalsky Sh.A.* Deviant women: female crime and criminology in revolutionary Russia, 1880–1930. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2009. – XII, 314 p.
18. *Krementsov N.* The cure: A story of cancer and politics from the annals of the Cold War. – Chicago: Univ. of Chicago press, 2002. – XVI, 261 p.
19. *Krementsov N.L.* International science between the World Wars: the case of genetics. – L.; N.Y.: Routledge, 2005. – XVII, 186 p.
20. *Krementsov N.L.* A Martian stranded on Earth: Alexander Bogdanov, blood transfusions, and proletarian science. – Chicago; L.: The univ. of Chicago press, 2011. – XVI, 175 p.
21. Madness and the mad in Russian culture / Ed. by Brintlinger A., Vinitsky I. – Toronto: Univ. of Toronto press, 2007. – X, 331 p.
22. *Michaels P.A.* Curative powers: Medicine and empire in Stalin's Central Asia. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2003. – XVII, 239 p.
23. *Mikhel D.* Fighting plague in southeast European Russia, 1917–25: A case study in early Soviet medicine // Soviet medicine: Culture, practice, and science / Ed. by Bernstein F.L., Burton C., Healey D. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – P. 49–70.
24. *Nakachi M.* «Abortion is killing us»: Women's medicine and the dilemmas for post-war doctors in the Soviet Union, 1944–48 // Soviet medicine: Culture, practice, and science / Ed. by Bernstein F.L., Burton C., Healey D. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – P. 195–212.
25. *Pinnow K.M.* Lost to the collective: Suicide and the promise of Soviet socialism, 1921–1929. – Ithaca: Cornell univ. press, 2010. – XI, 276 p.
26. *Solomon S.G.* Foreign expertise on Russian terrain: Max Kuczynski on the Kirghiz steppe, 1923–24 // Soviet medicine: Culture, practice, and science / Ed. by Bernstein F.L., Burton C., Healey D. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – P. 71–91.
27. Soviet medicine: Culture, practice, and science / Ed. by Bernstein F.L., Burton C., Healey D. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – X, 294 p.
28. *Starks T.* The body Soviet: Propaganda, hygiene, and the revolutionary state. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2008. – XIII, 313 p.
29. *Todes D.P.* Pavlov's physiology factory: Experiment, interpretation, laboratory enterprise. – Baltimore: The Johns Hopkins univ. press, 2002. – XIX, 488 p.
30. *Wanke P.* Russian / Soviet military psychiatry, 1904–1945. – L.; N.Y.: Frank Cass, 2005. – X, 145 p.

**Тольц В.**

**«СОБСТВЕННЫЙ ВОСТОК РОССИИ»:  
ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЕ  
В ПОЗДНЕИМПЕРСКИЙ И РАННЕСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ /  
Пер. с англ. – М.: НЛО, 2013. – 336 с.  
(Реферат)**

Работа профессора Манчестерского университета Веры Тольц<sup>1</sup> посвящена исследованиям российских востоковедов, деятельность которых пришлась на рубеж XIX–XX вв. Ученые относили себя к «новой школе востоковедения», которая была основана в 1890-х годах профессором-арабистом факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета, бароном Виктором Романовичем Розеном (1849–1908). В числе учеников Розена были такие известные востоковеды, как Василий Владимирович Бартольд (1869–1930), Николай Яковлевич Марр (1864–1934), Сергей Фёдорович Ольденбург (1963–1934) и Фёдор Ипполитович Щербатский (1866–1942). «Являясь связующим звеном между востоковедением дореволюционного и советского периодов, ученики Розена оказывали интеллектуальное и политическое влияние и за пределами академического мира. Труды этих ученых о Востоке придали существенный импульс увлечению восточной тематикой в среде российской культурной элиты и оказали влияние на восприятие широкими кругами интеллигенции позднеимперского периода (а также 1920-х годов) России, ее истории и ее культурных традиций» (с. 8–9).

В контексте научного анализа представлений элит об имперском и национальном строительстве в дореволюционных и совет-

---

<sup>1</sup> Оригинальное издание: *Tolz V. Russia's own Orient: The politics of identity and Oriental studies in the late imperial and early Soviet periods.* – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2011. – 203 p.

ских условиях большевистская революция 1917 г. должна рассматриваться как часть периода, начавшегося с потрясений 1905 г. и завершившегося в конце 1920-х годов, в ходе которого Первая мировая война и Февральская революция явились двумя дополнительными важными переломными моментами, считает В. Тольц. Распад Российской империи в ходе войны и революции и ее воссоздание с использованием антиколониальной идеологии подпитывали критику, высказываемую русской интеллигенцией в адрес европейского империализма. Обстановка децентрализации и хаоса в Европе в 1920-х годах создала условия для развития междисциплинарных проектов, ставивших под сомнение наиболее распространенные научные подходы того времени. Совокупность этих факторов подтолкнула российских востоковедов, работавших в позднеимперский и ранний советский периоды к тому, чтобы поставить вопросы, актуальность которых была осознана их коллегами из Западной Европы и Соединенных Штатов лишь спустя несколько десятилетий. Их заключения об отношениях между властью и наукой подчас звучат столь актуально, что автор предлагает рассматривать современный постколониальный подход в науке, начало которому было положено известной работой Э. Саида «Ориентализм»<sup>1</sup>, как преемника российского востоковедения начала XX в. (с. 11).

В работе дается последовательная переоценка противоречивого наследия этих ученых, особенно по таким ключевым проблемам, как восприятие России как нации и империи, что тесно взаимосвязано с пониманием категорий «Восток», «Запад», «Европа» и «Азия»; оценка ими отношений между политической властью и востоковедческим знанием, а также их критика состояния востоковедения в Европе (с. 13). Круг проблем определил структуру работы и тематику ее шести глав (глава 1 «Нация, империя и региональная интеграция»; глава 2 «Восприятие Востока и Запада»; глава 3 «Власть и знание»; глава 4 «Критика европейской науки»; глава 5 «Имперские ученые и национальные движения среди нацменьшинств на кануне 1917 года»; глава 6 «Как национальные меньшинства изображались нациями в 1920-х годах»). Обширная библиография включает архивные материалы, избранные опубликованные первоисточники, важнейшие научные публикации.

Работу открывает историко-теоретическое введение «Российское востоковедение и “восточный Ренессанс” в Европе на рубеже XX века», в котором подчеркивается, что в этот период происхо-

---

<sup>1</sup> Said E. Orientalism. – L.: Routledge, 1978.

дила выработка новых трактовок истории, культуры и религий Востока, так же как и собственно «европейской» истории и культуры. Хотя уже в 1836 г. в Академии наук в качестве самостоятельного исследовательского направления было выделено изучение «истории и культуры азиатских народов», только в 1890-х годах востоковедение становится по-настоящему значимой областью исследований «собственного Востока России», т.е. Кавказа, Туркестана и неевропейских сообществ Западной и Восточной Сибири и Поволжья, а также восточных государств и обществ, граничивших с Российской империей. С этого времени можно говорить, как считал Бартольд, «о возникновении особого “русского востоковедения”: такой области знания, в которой коллективные достижения (в отличие от достижений отдельно взятых российских исследователей), были признаны во всем мире» (с. 17–18).

Именно Розен, как показывает В. Тольц, сыграл решающую роль в завершении «национализации» российского востоковедения, добиваясь его одновременной интернационализации. Уже в 1880-х годах Розен, будучи профессором Санкт-Петербургского университета, разработал четкую стратегию создания новой школы российского востоковедения. Главной задачей стало изучение «собственного Востока России», в особенности его мусульманских и буддийских общин. Розен также утверждал, что ученые должны сосредоточить свое внимание на узлах культурного, политического и экономического взаимодействия между народами различного происхождения, языков и религиозных воззрений. Важность работ неакадемических востоковедов (государственных чиновников, военных, православных миссионеров) им признавалась, но с серьезными ограничениями. Критику вызывали не только неверные методики, но и проявления христианских, европоцентристских и расовых предрассудков. «Этот акцент на глубоких различиях в подходах к изучению Востока академических ученых и неакадемических экспертов был важным инструментом формирования четкой идентичности школы Розена», – считает В. Тольц (с. 23).

Ученники Розена, чья карьера началась в 1890-х годах, представляли собой новое поколение в российском востоковедении, и они предложили новые аргументы в пользу «этнического плюрализма» как особой силы России. Придерживаясь в большинстве своем либеральных убеждений и принимая участие в политической деятельности, они в гораздо большей степени, чем их предшественники, ставили под сомнение представления о европейском превосходстве и о непреодолимом различии между Востоком и Западом.

Изучая «собственный Восток», российские ученые нередко сравнивали свою страну с другими империями, имевшими колонии в Азии. Ученики Розена, как и их европейские коллеги, активно участвовали в выработке имперского дискурса, т.е. набора аргументов и нарративов для описания, объяснения и оправдания колониальной политики своих стран. «Примечательно, что вплоть до 1910-х годов с точки зрения большей части русской интеллигенции и правительственный чиновников британская, французская и голландская заокеанские колониальные империи представляли более привлекательные модели для России, чем континентальные Австро-Венгерская или Османская империи. Одной из центральных проблем был вопрос, как оправдать имперскую экспансию и господство над народами других культур в условиях, когда европейцы придавали столь большое значение (культурно определяемому) «национальному самосознанию»» (с. 51).

Царским правительством мнение ученого сообщества об интеграции инородцев в общероссийское политическое и культурное пространство на основе развитого чувства собственной этнокультурной самобытности воспринималось скептически. Тем не менее с 1905 г. идея о совместимости национально-культурного самоопределения народов Российской империи с сохранением ее территориальной целостности была принята большинством либеральных и левых партий России, от Конституционно-демократической (одним из основателей которой являлся академик Ольденбург) до Общероссийской партии мусульман.

Ряд современных исследователей, в частности, Ф. Хирш, отмечают влияние представлений о национальной и этнической принадлежности как главных маркеров идентичности, разработанных в российской науке позднеимперского периода, на взгляды большевистских лидеров по национальному вопросу. Признание русской интеллигенцией в ответ на развитие национализма в полиэтничном имперском обществе того факта, что всеобъемлющая идентичность не сводилась к этническому русскому национализму, а ассоциировалась с государственной принадлежностью, делал убедительным аргумент, что чувство любви к своей «малой родине» было важным для осознания себя частью всероссийского общества.

Для учеников Розена понятия «Востока» и «Запада», «Европы» и «Азии» были далеко не «самоочевидными категориями». Эти ученые хорошо понимали, что это были географические, культурные и политические конструкции, границы которых исторически изменялись.

В начале XX в. понятие «сближения» Востока и Запада было важной составляющей интеллектуального дискурса о русской самобытности. Бартольд в это время по-новому интерпретировал татаро-монгольское завоевание, рассматривая его не как главную причину последующей культурной отсталости России, а как возможность обогащения своей культуры знаниями с Востока и о Востоке (с. 106–107). Пересмотр востоковедами географических и культурных границ Запада и Востока в контексте российской истории отражал стремление утвердить европейскую идентичность России и одновременно констатировать ее отличие от Западной Европы.

То же самое можно сказать и о поисках востоковедами прародины арийцев или, как в случае с Марром, прародины яфетидов на территории России. «Тот факт, что Марр обнаружил колыбель своей яфетической цивилизации на Кавказе – этом перекрестке Востока и Запада, христианства и ислама, чье этнографическое, культурное и лингвистическое разнообразие, согласно этому ученному, сделало данный регион “микрокосмом России”, – позволило ему постулировать для России центральное, а не периферийное положение в Европе» (с. 111).

Критика европейской ориенталистики в работах Бартольда, Марра и Ольденбурга активизировалась после окончания Русско-японской войны. Бартольд привлек внимание к тому, что в научных работах зачастую воспроизводились расхожие предрассудки в отношении Востока, преуменьшались достижения мусульманских обществ, в частности религиозная толерантность исламских стран. Однако, утверждая, что единственная возможная модель модернизации – та, которой следует Европа, он таким образом устанавливал прямую связь между развитием европейской науки (особенно начиная с XVIII в.) и политическим господством Европы в мире (с. 160).

Марр и Ольденбург гораздо более остро критиковали европоцентризм в европейской ориенталистике, включая устоявшиеся научные методики, которые, по убеждению этих ученых, нередко фундаментальным образом зависели от политических соображений. «Один аспект массированных нападок Марра на устоявшиеся методы научного исследования имел особое значение для востоковедения. Это был его анализ категорий этнической и национальной принадлежности, согласно которому невозможно научно доказать наличие прямой связи между современными русскими или немцами, армянами или грузинами и народами, населявшими те же территории многими веками раньше. Эта позиция, которая на сегодняшний день признается большинством ученых, в начале XX в. была нов-

шеством, так как шла вразрез с подходом написания национальных исторических нарративов, принятым в науке XIX в.» (с. 165).

Критикуя своих западных коллег, российские ученые утверждали, что их подход к наследию Востока ни в коей мере не сравним с подходом западноевропейских ученых к восточным древностям. Изъятие наиболее ценных исторических памятников Востока, обогативших коллекции музеев европейских стран, прямо приравнивалось к вандализму.

Одновременно российских востоковедов в начале XX в. удручала малочисленность заинтересованной в их исследованиях аудитории, особенно отсутствие интереса у правительства и общественности. Однако, по мнению В. Тольц, в первые три десятилетия XX в. российская культурная элита, увлеченная теософией и буддизмом, внимательно следила за трудами российских ориенталистов. Так, в частности, несомненно влияние академического востоковедения на возникновение евразийского движения, ставшего откликом на травмирующий опыт мировой войны, революции и распад Российской империи.

В конце 1920-х – начале 1930-х годов в Советской России развернулась критическая кампания против «абстрактного изучения древностей» как не только «бесполезного», но и «реакционного». Пытаясь защитить Академию наук и самого себя в качестве непременного секретаря Академии, Ольденбург объявил о развитии в Советском Союзе новой науки о Востоке. «Новое советское востоковедение, по словам Ольденбурга, готово было “служить в качестве основы для [построения] новой жизни” в восточных и южных республиках СССР, для чего предполагалось сосредоточить внимание на современных и очевидно политических вопросах» (с. 146).

Вовлечение ученых в процессы, которые большевики называли «национальным строительством» на имперской периферии, послужило дальнейшему укреплению связей столичного академического сообщества с представителями восточных и южных национальных меньшинств, многие из которых были студентами факультета востоковедения в Санкт-Петербургском университете на рубеже XIX–XX вв. Взгляды Ольденбурга также существенно радикализируются после 1914 г. Он начинает трактовать археологические методы как проявление варварства западных империалистов, все внимание которых было занято исключительно обогащением музеев Европы сокровищами с Востока. «Ключевой элемент критики, неоднократно повторявшийся Ольденбургом в первые годы советского периода, состоял в том, что “западный человек плохо

понимает Восток, поскольку его занимают исключительно достижения его собственной цивилизации, и поэтому он закрывает глаза на великую, захватывающую воображение культуру Востока”» (с. 170). Идеи Ольденбурга также заставляют поставить вопрос о степени оригинальности современных постколониальных исследований, считает В. Тольц.

На рубеже XIX–XX вв. начали складываться тесные связи между имперскими учеными и теми представителями «инородцев» из сообществ Сибири и Кавказа, которые к 1905 г. стали лидерами внутри своих этнических групп. Роль образованных «туземцев» в создании новых знаний о европейских колониальных владениях является предметом жарких дискуссий в постколониальной науке. Первое систематическое и крупномасштабное привлечение к научным проектам представителей инородческих общин в России В. Тольц относит к 1860–1870-м годам. Это произошло во время работ Петра Услара по созданию алфавитов для местных языков различных групп нацменьшинств Кавказа. Спустя несколько десятилетий ситуация изменилась. В отличие от «инородцев», работавших с Усларом, тех, кто начинал свою деятельность в качестве «информаторов» или научных помощников имперских ученых на рубеже XIX–XX вв., сегодня воспринимают как «национальных героев».

Трансформация, необычная по своему размаху, если сравнивать ее с европейской ориенталистикой того времени, произошла в России по нескольким причинам. Одна из них была связана с усиливающейся среди востоковедов тенденцией воспринимать Российскую империю как уникальный симбиоз западных и восточных культур.

Особенно важную роль по содействию этим переменам сыграли Марр, разработавший новую программу по изучению Кавказа и его малочисленных этнических групп, не имевших устоявшихся письменных традиций на родном языке, и Щербатский, который в сотрудничестве с Ольденбургом проводил исследование буддизма на основе «живых устных традиций». Гомбожаб Цыбиков, Банзар Баадийн и Цыбен Жамцарано – студенты факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета – впоследствии стали лидерами бурятского движения во время революции 1905 года и ведущими деятелями национального строительства в Бурятии в 1920-х годах. По словам автора, «образованные, национально мыслящие лидеры “инородческих” общин могли уберечь нацменьшинства от полной ассимиляции и при этом облегчить их интеграцию в российские государственные структуры, а не породить сепаратизм, как предсказывали консерваторы» (с. 210).

По мнению российских востоковедов, было необходимо стимулировать «национальное пробуждение», опираясь на знания о прошлом. В их работах присутствовали многочисленные ссылки на «коренные исторические и культурные традиции», которые считались живыми и актуальными и представляли собой, по словам ученых, «живую старину». Таким образом, как считает В. Тольц, «навязывание религиозных и других самоидентификаций было прерогативой не только государственных чиновников, но и видных представителей “инородческих общин” и таких ученых, как Ольденбург, Штернберг и Клеменц, которые видели в себе ходатаев за благо “инородцев”» (с. 219).

В начале XX в., особенно после революции 1905 г., востоковеды, даже поддерживавшие тесные связи с режимом, как Марр, все чаще подвергали критике царскую политику на окраинах империи. Идеи, разработанные российскими учеными до 1917 г., по-рой под непосредственным влиянием их младших коллег из числа «инородцев», стали особенно актуальными во время национального строительства среди восточных и южных национальностей в первые годы большевистской власти.

Марр в данном контексте сыграл особую роль, как из-за смелого пересмотра им некоторых ключевых постулатов европейского и российского востоковедения, так и благодаря влиятельности его идей в советский период. Малочисленные этнические группы Кавказа рассматривались Марром как народы, которые сохранили элементы культуры (так называемое яфетическое наследие), которая дала начало развитию «европейской цивилизации». Таким образом, национальные меньшинства Кавказа не являлись народами вне истории, а имели важное значение для понимания происхождения европейской цивилизации и играли ключевую роль в ее развитии, настаивал Марр (с. 222).

В первые годы после революции 1905 г. Ольденбург и Щербатский, а также ученики последнего Оттон Розенберг и Борис Владимиров, в свою очередь, активно способствовали продвижению позитивного взгляда на буддизм, в особенности на его тибетский вариант, который в то время обычно называли ламаизмом. Бартольд, в свою очередь, придерживался позитивных (по стандартам своего времени) взглядов на ислам, утверждая, что эта религия не является препятствием для реформ и модернизации. В разрез с широко распространенными взглядами, Бартольд считал культурное наследие Туркестана вплоть до конца Средних веков превосходившим культуру Руси того времени.

«Улучшенный образ восточных и южных нацменьшинств был четко сформулирован во время напряженных дискуссий востоковедов о русской идентичности, способной объединить в себе достижения восточных и западных культур» (с. 231). Активная поддержка «национального пробуждения» шла вразрез с представлениями российского правительства и общества в целом. Тем не менее тесное сотрудничество между имперскими учеными и представителями восточных и южных нацменьшинств продолжилось (а в некоторых случаях и усилилось) в 1920-х годах.

Анализ исторической преемственности в управлении мультиэтническим государством в позднеимперский и раннесоветский периоды позволяет раскрыть логику необычной стратегии советского национального строительства, подчеркивает Тольц. Хотя многие проекты зачастую представлялись напрямую связанными с формированием новой постреволюционной реальности, в действительности некоторые из них возникли еще в царское время.

После Февральской революции по предложению Ольденбурга под эгидой Академии наук была создана Комиссия по изучению племенного состава населения России (КИПС), которая в 1920-х годах действовала как «этнографическое бюро советского режима». Модели участия бывших имперских ученых в проектах национального строительства большевиков и их взаимодействия с местными элитами варьировали в зависимости от региона. Автор анализирует три случая, обращая внимание на то, как события последних десятилетий имперского периода повлияли на динамику национального строительства в Бурятии, на Кавказе и в Средней Азии в первые десятилетия советской власти.

В Бурятии после падения царизма в феврале 1917 г. концепция «бурятской нации» продолжала формироваться под влиянием идей Доржиева и Жамцарано. В марте 1917 г. Временное правительство создало Комиссию по пересмотру законодательства о буддистах в России, в рамках работы которой Доржиев представил предложения о модернизации буддизма. В 1923 г., во время создания в составе РСФСР Бурят-Монгольской автономной ССР, большая часть ее новых лидеров рассматривала буддизм как свою «национальную религию», положительно оценивала роль дацанов и воспринимала лам как часть зарождавшейся бурятской интеллигенции. В 1920-х годах на различных официальных собраниях «буддистов СССР» обсуждались вопросы идеологии движения «обновления буддизма» и ее связи с большевистской политической программой.

«Занимая руководящие посты в Наркомпросе, бурятские ученые продолжали свои исследования и создали несколько научных учреждений, наиболее важными из которых стали Бурятский ученый комитет, возглавляемый Барадийном, и Ученый комитет Монголии, возглавляемый Жамцарано. Оба комитета поддерживали тесные связи с учеными из Ленинграда. Вместе они занимались пропагандой величия буддизма и его принципиальной совместимости с задачами нового режима в области модернизации» (с. 257–258).

В 1920-х годах идеи Марра вызывали широкий резонанс среди местных элит на Кавказе. В Абхазии Марр помогал противникам объединения с Грузией выстраивать историческую аргументацию, подтверждающую их культурную самостоятельность и своеобразие. Еще в 1905 г. при содействии Марра в Абхазии была создана Академия абхазского языка и литературы, которая продолжала действовать в советский период. Даже после осуждения в 1950 г. Сталиным теории Марра и последовавшего за этим отказа ученых Москвы и Ленинграда ссылаясь не только на его лингвистические работы, но и на труды по археологии, он продолжал оставаться героем в Абхазии.

Утверждая, что на Кавказе мусульмане гораздо меньше интересовались собственным прошлым, чем христиане, Бартольд в 1922 г. выразил надежду, что создание Азербайджанской республики исправит ситуацию, предоставив ее населению новые возможности культурного развития. К середине 1920-х годов Баку с образованным здесь университетом становится центром интеллектуальной жизни тюркских народов, проживавших в Советском Союзе и за его пределами, привлекая ученых и деятелей культуры из Татарстана, Средней Азии, Турции и европейской части России. «Эти интеллектуалы особенно интересовались проектами формирования нации тюрок-мусульман на Кавказе. Их дискуссии проходили в контексте политики коренизации, которая в 1923 г. стала ключевым элементом большевистского подхода к решению национального вопроса» (с. 269). У этой политики был еще один важный компонент – создание исторических и культурных нарративов для новоизобретенной азербайджанской нации. Именно в этой области, а также в языковой политике бывшие имперские востоковеды сыграли ключевую роль, считает Тольц.

Бартольд как член комиссии КИПС принимал участие в территориально-политическом размежевании в Средней Азии, но вопреки ожиданиям властей отказался рассматривать проведение национальных (государственных) границ по этническому признаку

как отражение реалий Среднеазиатского региона. В своем ответе на запрос правительства Бартольд ответил, что такой подход совершенно чужд местным историческим традициям. Кроме того, Бартольд участвовал в двух других важных проектах национального строительства в регионе. Первым было учреждение в Ташкенте университета, а вторым – участие в практической деятельности по охране исторических памятников.

В 1930-х годах грубое политическое вмешательство положило конец интеллектуальным экспериментам и новаторским общественным проектам представителей школы Розена. Хотя советские ученые и продолжали проводить высококачественную научно-исследовательскую работу, особенно связанную с изучением древней и средневековой текстуальной традиции, советское исламоведение и буддология нередко воспроизводили те самые предрассудки и стереотипы, от которых стремились освободить свои исследования последователи Розена, подчеркивает В. Тольц.

Среди российских политиков и культурных деятелей рубежа XX–XXI вв. наследие востоковедов начала XX в. не сильно востребовано, констатирует автор. «Не уделяя внимания востоковедам школы Розена, современные политики и общественные деятели пренебрегают интеллектуальной традицией, которая включала положительную оценку культурных достижений Кавказа и Средней Азии, критиковала расовые и культурные предрассудки и рисовала образ России как открытого, многополярного культурного пространства» (с. 304–305). Сегодня в России востребованы идеи другой группы мыслителей начала XX в., также увлеченных темой российского Востока, – евразийцев. Их наследие, которое включает в себя описание Европы как угрозы для России и спорадические заявления о превосходстве православия над другими религиями, что принципиально отличает евразийцев от востоковедов школы Розена, пользуются, по мнению В. Тольц, гораздо большим спросом.

Т.Б. Уварова

## **ПОЛИТИКА И ТЕОРИЯ ЯЗЫКА В СССР, 1917–1938: РОЖДЕНИЕ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ (Реферат)**

Ref. ad op.: Politics and the theory of language in the USSR, 1917–1938: The birth of sociological linguistics / Ed. by Brandist C., Chown K. – L.; N.Y.: Anthem press, 2010. – VI, 199 p.

Коллективный труд зарубежных и российских исследователей посвящен первому двадцатилетию развития советской лингвистики, поскольку, как пишет во введении один из редакторов сборника К. Брэндист (ун-т Шеффилда, Великобритания), это время было ознаменовано «необычайным подъемом в новых подходах к языку в России и затем в СССР» (с. 1). К сожалению, англоязычному читателю была доступна лишь незначительная часть информации об этих исследованиях. И эта информация представляет не только историческую ценность, «поскольку многие вопросы, которые теперь занимают теоретиков [истории] языка и общества, советские лингвисты как раз и пытались решить» (там же). Первые переводы на английский язык трудов советских ученых, принадлежавших к «кругу Бахтина» и «кругу Выготского», начали появляться в конце 1960-х годов, а в 1980-е начался настоящий бум «бахтиноведения». С тех пор, продолжает К. Брэндист, произошла серьезная переоценка социологических подходов к языку, разрабатывавшихся советскими учеными, чему способствовало открытие архивов после окончания холодной войны. Новые материалы, представленные в этом сборнике, подготовлены в рамках исследовательского проекта, который осуществлялся в Бахтинском центре университета Шеффилда, и прошли обсуждение на конференции «Социологические теории языка в СССР, 1917–1938», состоявшейся в этом университете в 2006 г. (с. 2).

В результате работы над проектом, которая велась в тесном сотрудничестве с российскими учеными, были сделаны выводы о многомерном характере лингвистических инноваций в СССР в межвоенный период, что было обусловлено целым рядом факторов. Среди них К. Брэндист выделяет политические и институциональные изменения, возникновение новых парадигм в лингвистике, усвоение зарубежных философских идей и многонациональный состав СССР. Кроме того, отмечает он, следует учитывать, что дисциплинарные границы находились в тот период в состоянии становления, так что изучение языка осуществлялось в таких разнообразных «дисциплинарных контекстах», которые сегодня относятся к психологии, этнологии, социологии, литературоведению и археологии (с. 2).

Открывает серию статей исследование В.М. Алпатова (Институт востоковедения РАН), посвященное отношению советских лингвистов 1920–1930-х годов к научному наследию. Автор подробно рассматривает один из аспектов «борьбы идей» в ранней советской лингвистике – отношение к предшествующей, «буржуазной» науке. Представители старой академической парадигмы, наиболее близкой к компаративизму, не находили в ней ничего, требующего изменений. Судьбы их, как жизненные, так и научные, чаще всего были несчастливы: многие были арестованы, другие столкнулись с проблемой публикации работ. Труды их во многом до сих пор сохраняют ценность за счет умения авторов работать с фактами.

Противоположную крайность представляла школа Н.Я. Марра. Ее сторонники декларативно отвергали «буржуазную индоевропеистику», противопоставляя ей «новую теорию языка» академика Марра. Этот «ученый нигилизм», снимавший таким образом вопрос об отношении к наследию науки, мало принимался всерьез представителями других школ, тем более что многие последователи Марра не имели филологического образования.

Многие серьезные исследователи, как показывает Алпатов, выделяли в научном наследии как приемлемое, так и неприемлемое для современной им науки. Объединяло их, в частности, неприятие «наследия лингвистики конца XIX века (...): крайнего позитивизма, эмпиризма, боязни обобщений и “почитания факта”» (с. 27). Примерами этого направления автор называет работы В.Н. Волошинова и В.И. Абаева.

Наконец, «самый разумный подход к проблеме лингвистического наследия» демонстрировал один из крупных ученых того

времени, Е.Д. Поливанов. Ставя перед собой задачу создать «марксистскую лингвистику», он призывал широко использовать не только факты, но и методы «буржуазной науки», интересуясь достижениями ученых самых различных направлений.

Темой следующего исследования стало социологическое направление в ранней советской лингвистике, рассматривавшее язык как социальный феномен. Автор, М. Лахтенмяки (университет Ювяскюля, Финляндия), отмечает среди причин развития этого направления активное участие многих лингвистов в языковой политике Советского государства (например, создание алфавитов для бесписьменных народов). Само понятие «социологии» и даже «марксистской социологии», которая должна была служить основанием лингвистики, чаще всего не получало у них точного определения. Николай Бухарин в работе «Теория исторического материализма» (1921) рассматривал не только язык, но и мысль как социальное явление; в дальнейшем эта концепция послужила основой для идеи о классовом характере языка, развивавшейся советскими филологами.

Многих ученых вдохновляли современные им достижения французской социологической школы – например, Р.О. Шор, занимавшуюся популяризацией взглядов Ф. де Соссюра, А. Мейе и других исследователей. В 1920-е годы Шор подчеркивала социальную природу языкового знака, утверждая, что именно социальные законы могут объяснить развитие языка. В работах начала 1930-х годов Шор обратилась к вопросу о «марксистской лингвистике» и, сближаясь к этому времени с идеями школы Н.Я. Марра, выражала более скептическое отношение к «буржуазной социологии» в науке, в частности, критикуя «социологизм» Соссюра и Дюргейма.

Во взглядах Поливанова на сущность «марксистской лингвистики», проявляется, считает М. Лахтенмяки, взвешенный подход к научному наследию. «По его мнению, развитие марксистского подхода к изучению языка должно быть основано на собственно лингвистической и методологической подготовке, что позволит выявить объективные лингвистические факты, которым *потом* будет дана марксистская интерпретация» (с. 43). Поливанов видит язык как явление, подчиняющееся одновременно законам развития общества и законам, общим для явлений природы; это сближает его с Бухарином. Но в отличие от последнего Поливанов представляет развитие языка как процесс телесологический, т.е. имеющий некую конечную цель – определенную стадию языка. Хотя Поливанов уделял много внимания вопросу о марксистской со-

циологии, точного ее определения он не дал, а его собственные взгляды в конце 1920-х годов критиковались как немарксистские.

В отличие от вышеупомянутых ученых В.Н. Волошинов обозначал свою область исследований не как филологию, но как «философию языка». Этот исследователь активно использовал понятия «базиса» и «надстройки», но в отличие от Бухарина не помещал язык в надстройку, а напротив – указывал на него как на материал, из которого созданы относящиеся к ней явления; изменения же языка связывал с изменениями базиса, однако отмечал, что связь эта непрямая. При этом он отступал от концепции классовой природы языка, указывая, что все классы конкретного общества говорят на одном и том же языке. Он, как и Поливанов, во многом отождествляет «марксистский подход» с социологическим подходом. Как заключает М. Лахтенмяки, эти разногласия в понимании ключевых терминов были характерной чертой советской лингвистики того времени.

Виктория Гулида (Санкт-Петербургский государственный университет) рассматривает вопрос о сочетании научных и идеологических факторов на примере двух лингвистов, интересовавшихся явлением «живой разговорной речи», – Льва Якубинского и Бориса Ларина. Оба они работали на основе наблюдений над современным им материалом, доступным в повседневной жизни. Развитие языковой ситуации в городе рассматривалось Б. Лариным в терминах «борьбы», «языковых партий» и других понятий, родственных представлению о классовой борьбе. Сходные высказывания В. Гулида отмечает и у Л. Якубинского, видя в этом «живую иллюстрацию того, как политический режим осуществлял давление на академический контекст» (с. 66), что, по ее мнению, не отменяет ценности их наблюдений и многих выводов.

Совместная статья К. Брэндиста и М. Лахтенмяки посвящена отражению тенденций ранней советской лингвистики в творчестве Михаила Бахтина. Авторы подчеркивают, что ранее его работы рассматривались как нечто исключительное, причем чаще всего без «советского контекста», за вычетом узкого круга его единомышленников. Теперь, когда современные ему материалы вводятся в научный оборот (в том числе для англоязычного читателя), нередко выясняется, что «Бахтин использовал идеи, которые были распространены в его время, но теперь выпали из фокуса внимания исследователей» (с. 69). Авторы прослеживают, как формировались идеи, нашедшие отражение в работе Бахтина «Слово в романе» (1934) и более поздних трудах.

Для взглядов Бахтина 1930-х годов, отмечают авторы, был характерен социологический подход как к поэтике, так и к языку в целом. Он вводит понятия «разноречия» (существования различных форм языка, связанных с различными социальными группами) и «разноязычия» (существования разных языков в рамках одной группы). Идея социальной стратификации языка широко обсуждалась в советской лингвистике конца 1920-х – начала 1930-х годов, а впервые подобные идеи были высказаны в начале XX в. И.А. Бодуэном де Куртенэ. Но более всего идеи Бахтина перекликаются с циклом статей Л. Якубинского «Классовый состав современного русского языка» (1930–1931), где язык рассматривается как единство двух функций: «1) язык как средство общения; 2) язык как идеология» (цит. по: с. 76), причем язык-идеология несет в себе следы всех ранее прошедших стадий. Процесс сложения единого национального языка Якубинский увязывает с развитием в нем явления «публичной речи» (в политике, высшем образовании и т.д. – т.е. в соответствии с развитием общества). Бахтин же само появление жанра романа связывает с развитием общества, где складываются ситуации «многоязычия».

Таким образом, Бахтин пытался подойти к этой проблеме с социологической точки зрения. При этом он все же занимался не столько лингвистикой, сколько теорией литературы, и именно роман воплощал для него вербальную структуру общества, «микрокосм разноречия» (цит. по: с. 84). Бахтин полагал «разноязычие» вечным явлением, Якубинский предполагал, что в лишенном антагонистических классов социалистическом обществе это разнообразие исчезнет. Но, как отмечают авторы, скоро ему и другим исследователям предстояло убедиться, что даже в тоталитарном обществе это было недостижимо.

Капитолина Фёдорова (Европейский университет в Санкт-Петербурге) исследует проникновение в научную дискуссию «риторики классовой борьбы» на примере полемики двух лингвистов – Е.Д. Поливанова и Г.К. Данилова в 1929–1932 гг. Как отмечает автор, это было время горячих дискуссий, в том числе в науке о языке, вызванных как теоретическими, так и практическими нуждами. Метафоры борьбы, сражения, фронта были при этом очень распространены. Провозглашалась борьба с буржуазной наукой, которую, в частности, воплощала собой индоевропеистика.

Поливанов защищал индоевропейскую лингвистику от «вульгарного марксизма», указывая, что это направление науки работает с реальными фактами, хотя и пренебрегает социальными аспектами

языка. Он признавал, что различные социальные группы могут говорить по-разному, но границы эти не будут абсолютны, кроме того, они сохраняют языковые нормы предыдущих эпох. Похоже, отмечает автор статьи, что и сами оппоненты «говорят на разных языках: Поливанов использует язык и логику научной аргументации, в то время как Данилов применяет жаргон классовой борьбы» (с. 94).

Поливанов критикует противника с позиции интеллектуального превосходства, демонстрируя, что Данилова и его единомышленников нельзя считать серьезными исследователями. Эта разница находит отражение в стиле речи оппонентов. Для обоих ученых в полемике характерны непривычные для современного читателя «открытость и прямота в выражении мнений» (с. 100), проявляются ли они в агрессии или в иронии. Количественный анализ, проведенный автором статьи, показывает значительную разницу в использовании выразительных средств: Поливанов больше обращается к «грамматическим» элементам, Данилов же – к лексическим. Таким образом, сам язык становится своеобразным «полем битвы», где сталкиваются «старый», «ученый», и «новый», «идеологический», его варианты.

М.Г. Смит (ун-т Пардью, США) посвятил статью национальному вопросу в работах И.В. Сталина, которые, по мнению автора, еще недостаточно изучены исследователями. Одним из ключевых для Сталина было понятие языка как «формы» нации; М.Г. Смит связывает его с философией Платона и неоплатоников – учениями, о которых Stalin мог узнать во время учебы в Тифлисской семинарии. При этом он был человеком Нового времени, когда были особо актуальны проблемы национализма. Его практическая политическая деятельность, начиная с 1913 г., также была во многом связана с национальным вопросом.

В 1913 г. Stalin написал для партийного журнала «Просвещение» статью «Национальный вопрос и марксизм»<sup>1</sup>, ведя в ней полемику с австрийскими социал-демократами. Последние выступали за национально-культурную автономию народов, не связанную с определенной территорией и государством, «свободное объединение свободных личностей». Stalin (как и Lenin), напротив, жестко увязывал понятие национальной автономии с определенной территорией и языком. М.Г. Смит утверждает, что соображения Сталина имели не только политический смысл, но и философ-

<sup>1</sup> Автор статьи упоминает ее под названием «Социал-демократия и национальный вопрос». – *Прим. реф.*

скую глубину, находя в них параллели с философией А. Потебни и Г. Шпета, считавших язык основой человеческой культуры.

Анализируя взгляды Сталина на национальный вопрос после революции, автор усматривает в них проявление «гибкости между национальной риторикой и марксистской идеологией» (с. 111). Одним из примеров он считает многоократно повторенное Сталиным определение народов советского государства как «социалистических по содержанию, национальных по форме» (там же). На практике понятие формы связывалось прежде всего с территорией, а также с языком, что породило сложную иерархическую систему союзных республик, автономных республик и т.д. Со временем появилось понятие «советский народ» – своеобразная нация над другими нациями, чему М.Г. Смит также находит философские параллели.

Наконец, автор рассматривает статью Сталина «Марксизм и вопросы языкоznания», появившуюся в 1950 г. Он отмечает, что эта работа и дискуссия вокруг нее привлекали куда меньше внимания исследователей, чем теории Лысенко и их осуждение. Сама статья, как утверждает М. Смит, имела несомненно политические цели (осуждение последователей теории академика Марра), но была также в достаточной степени теоретическим трудом, «исследованием по социолингвистике» (с. 117). Язык рассматривался в ней как одновременно динамическая и стабильная структура, на которую равно влияют базис и надстройка общества. Статья была посвящена «языку» и «народу» в целом как явлению, что отличает ее от более ранних работ Сталина, имевших прежде всего практическую направленность. Stalin признавал в этой работе, что несмотря на произошедшие в стране революционные перемены, язык не изменился и остался тем же, развиваясь эволюционно. Автор статьи называет эту позицию «соссюровской» и снова видит в данной работе влияние платоновской философии. Сама же национальная ситуация в СССР, по его мнению, в итоге оказалась близка как раз модели австрийских социалистов, в свое время критиковавшейся Сталиным.

Статья Владиславы Резник (ун-т Лозанны, Швейцария) посвящена вкладу Г.О. Винокура в развитие такого направления языкоznания, как «культура языка». Эта дисциплина, имеющая и сугубо утилитарную, и теоретическую составляющие, создавалась им в 1920-х годах на стыке языкоznания и социологии с применением методов, описанных Ф. де Соссюром. Винокур заимствовал у него четкое разделение синхронного и диахронного взгляда на

язык с предпочтением синхронного анализа, разделение на «речь» и «говорение» (*langue* и *parole* у Соссюра), где «говорение» является индивидуальным творческим осмыслением нормы, заданной в «речи». Изучением «речи», по мнению Винокура, занимается языкознание, дисциплиной же, которая будет изучать «говорение», он предполагал поэтику (как часть стилистики). Работа Г.О. Винокура «Структура языка» появилась в 1925 г. В духе времени он писал о создании «лингвистической технологии», прикладной науки с теоретическим основанием, цель которой – рациональная организация самых разных случаев применения языка (поэзия, листовки, речи и т.д.). Все эти процессы, согласно Винокуру, должны были сознательно организовываться извне, а не происходить спонтанно (в этом вопросе он расходился с Соссюром). Здесь, по утверждению автора, взгляды Винокура совпадали с официальной политикой в отношении национальных языков, проводившейся в то время.

М.С. Горем (ун-т Флориды, США) также рассматривает развитие «культуры языка» как научного направления. Он отмечает, что анализ отношения к языку в тот или иной период позволяет обсуждать не только развитие языкоznания, но и вопрос о власти (кто имеет право изменять язык), об отношениях личности и государства. Под таким углом он и рассматривает «культуру речи», поскольку это направление играло важную роль в сталинскую эпоху, «несмотря на его решительно непролетарское, нереволюционное и немарксистское направление» (с. 138).

Сложившийся к концу 1940-х годов характер данного направления, ставившего своей задачей распространение и охрану норм литературного языка, был совершенно противоположен тому, что писал о культуре языка Г.О. Винокур. Он описывал язык как нечто, находящееся в процессе создания, организации и даже «преодоления» его носителями. Но последующий облик дисциплины определили, по мнению автора, не теоретики, а практики – знатоки и классификаторы языка, педагоги. Одним из первых понятие обязательной нормы рассмотрел Л.В. Щерба в 1930-х годах. С развитием этой идеи распространялся «патриотический дискурс», язык таким образом увязывался с понятием нации. В статьях первого директора Института русского языка С.П. Обнорского язык описывается как «наследие», неисчерпаемое, но подверженное порче и потому нуждающееся в очищении. Культура речи оказалась также связана с понятием «культурности», которое автор истолковывает как «трансляцию идеологии в повседневную жизнь», с представлениями о том, что существуют «классики» литературы, – т.е. об

определенной иерархии (с. 145). Это направление нашло особую поддержку у педагогов. Школа Марра со свойственным ей представлением о постоянной эволюции языка была окончательно вытеснена после полемики с ней в начале 1950-х годов. Появившиеся в ходе полемики статьи Сталина закрепили понятие норм и языка как «народного достояния», нуждающегося в охране, вскоре появились и соответствующие научные институты и издания.

Все эти перемены указывают, по мнению автора, на изменения в «идеологии языка»: «от социалистического к национальному» и «от строителей, создателей, инженеров языка – к искателям норм, жаждущим принадлежать… к национальному лингвистическому наследию» (с. 147).

Статья К. Брэндиста посвящена анализу работы Исаака Шпильрейна «Язык красноармейца» (1928), написанной на материале исследования речи солдат Московского гарнизона. Формально работа относилась к прикладной психологии, но вписывается и в рамки прикладной лингвистики. Брэндист считает ее характерным примером, отражающим динамику развития научной психологии того времени, когда эта дисциплина отделялась от физиологии и философии, разрабатывая собственные методы на основе анализа конкретных фактов. Данное направление получило название прикладной психологии; одним из первых его представителей был Лев Выготский. И.Н. Шпильрейн был признанным лидером одного из направлений прикладной психологии – психотехники, или психологии труда, развивавшейся с начала XX в. Особенностью советской психотехники было добавление к прочим параметрам исследования «классового подхода».

Целью исследования, проведенного по инициативе Политического управления РВС, было выяснить, насколько политическая терминология понимается и используется солдатами. Результаты показали, что солдаты усваивали достаточно много новых понятий, но довольно часто неточно представляли себе их значение: так, примерно 75% опрошенных неверно понимали слова «блокада», «монополия», «импорт», «бюрократ» (с. 161). В качестве выводов инструкторам политического обучения предлагалось обращать больше внимания на проблему корректного усвоения новых понятий. Исследование Шпильрейна вдохновило на аналогичные работы и других исследователей, пришедших к сходным выводам. По мнению автора, это указывало на развитие бюрократии как самостоятельной силы в обществе, оторванной от других «классов», и ее собственного языка; тот же «диагноз»ставил советскому об-

ществу в то время Троцкий. Связи Шпильрейна с Троцким в дальнейшем определили и его собственную судьбу (он был расстрелян в 1935 г.), и судьбу его сотрудников, оказавшихся в лагерях.

Завершает сборник публикация английского перевода «Введение в яфетидологию» И. Мещанинова (1929). Как отмечает К. Брэндист в предисловии к публикации, весьма небольшое количество работ по яфетической теории академика Марра переводилось на английский язык, и переводы эти, как правило, малоизвестны. Он полагает, что данная публикация поможет «представить яфетидологию как сложный исторический феномен, отдельные аспекты которого повлияли на развитие советской филологии и... продолжают влиять на теорию культуры и сегодня» (с. 173).

*Ек. Лебедева*

**ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ СТАЛИНСКОГО ПЕРИОДА:  
И.И. МИНЦ И А.М. ПАНКРАТОВА  
(Сводный реферат)**

**1. Маккиннон Э. История для Сталина. Исаак Израилевич Минц и «История Гражданской войны».**

Ref. ad op.: MacKinnon E. Writing history for Stalin: Isaak Izrailevich Mints and the Istoriiia grazhdanskoi voiny // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. – Bloomington, 2005. – Vol. 6, N 1. – P. 5–54.

**2. Зелник Р. Превратности судьбы Панкратовой: Некоторые истории из анналов советской историографии.**

Ref. ad op.: Zelnik R. Perils of Pankratova: Some stories from the annals of Soviet historiography. – Washington: Univ. of Washington press, 2005. – 137 p.

Э. Маккиннон и Р. Зелник обратились к судьбе и творчеству советских историков И.И. Минца и А.М. Панкратовой, представителей первого поколения историков-марксистов, тех, кто формировал структуру и идеологию советской исторической науки. Исследователи попытались не только осветить основные вехи жизни и научной деятельности этих людей, но и дать свое видение того, как атмосфера сталинизма меняла человека, ученого, – иными словами, показать феномен, который Э. Маккиннон назвала сталинизацией личности.

Жизнь И.И. Минца, пишет Э. Маккиннон, свидетельствует о возможностях успеха и взлета в условиях сталинизма и демонстрирует, как тонка грань между успехом и позором, между жизнью и смертью. По словам автора, «изучение жизни И.И. Минца позволяет вочеловечить факторы, формировавшие сталинскую систему, с ее сложным смешением массового идеализма, личного оппортунизма и страха» (1, с. 6).

Исаак Израилевич Минц родился на Украине в 1896 г. Он не смог поступить в Харьковский университет, так как был евреем. И.И. Минц присоединился к революционному движению и стал заниматься пропагандистской работой среди рабочих Екатеринополя. В апреле 1917 г. вступил в партию большевиков. В годы Гражданской войны И.И. Минц был комиссаром Красной Армии на Южном и Юго-Восточном фронтах. Он тесно контактировал с теми, кто впоследствии займет руководящие посты в советской системе: К.Е. Ворошиловым, Л.З. Мехлисом, С.М. Будённым и М.В. Фрунзе. По словам дочери И.И. Минца, именно М.В. Фрунзе посоветовал молодому комиссару стать историком.

И.И. Минц поступает в Институт красной профессуры, темой его исследований становится история Гражданской войны, в частности иностранная интервенция. Первым наставником И.И. Минца был М.Н. Покровский. Вскоре И.И. Минц стал научным секретарем семинара по Октябрьской революции. Уже на втором году обучения И.И. Минц читал лекции по истории России XX в., вел семинары по истории Октябрьской революции, Гражданской войны, по теории ленинизма, в том числе на английском языке. В 1931 г. И.И. Минц издал монографию «Английская интервенция и северная контрреволюция».

С первых публикаций, пишет Э. Маккиннон, И.И. Минц проявил готовность и склонность писать историю, соответствующую линии партии. В годы Гражданской войны он был комиссаром, вероятно, это помогло ему стать историком-пропагандистом. Он не видел противоречия между наукой и пропагандой, его не смущало, что историю используют как инструмент партии. «В его работах была ясно показана готовность служить нуждам сталинского руководства...» (1, с. 15).

В 1932 г. И.И. Минц становится ответственным редактором Секретариата и главой научно-исследовательского Отдела издания «История Гражданской войны». Э. Маккиннон подробно рассказывает об этом проекте, который она называет «ярким портретом сталинизации истории... в котором, как в зеркале, отразились сталинские чистки и то, как изо дня в день они влияли на работу коллектива, с самого начала страдающего от недостатков сталинской командной системы – сверхполитизации, дефицита, плохой координации и т.п.» (1, с. 7).

Инициатором этого амбициозного и масштабного исследования был А.М. Горький. Предполагалось издать многотомник истории нового типа, к его подготовке планировалось привлечь профес-

сиональных историков, писателей, художников, рабочих, крестьян и солдат, участвовавших в событиях 1917–1922 гг. «Это должна была быть подлинная марксистская история, созданная объединенными усилиями, доступная для трудящихся масс, воодушевляющая на высокие цели» (1, с. 19). С самого начала, подчеркивает Э. Маккиннон, политические и идеологические цели вышли на первый план. А.М. Горький считал идеологические соображения более важными, чем историческую точность.

В состав редколлегии вошла почти вся партийная верхушка: И.В. Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, С.М. Киров, А.А. Жданов и др. К 1937 г. картотека документальных материалов насчитывала более 100 000 наименований, а библиография литературы и опубликованных изданий превысила 10 000 названий. Со временем, пишет автор, идеалистические и амбициозные планы изменились. Были пересмотрены темы первых двух томов (теперь они освещали историю Февральской и Октябрьской революций, а не саму Гражданскую войну), да и те вышли с большим опозданием.

Волна репрессий серьезно затронула проект, имена репрессированных изымались из текстов, из списков авторов и редакторов, а материалы редактировались и изменялись в соответствии с политической ситуацией. Первые два тома «Истории Гражданской войны» в полной мере отразили сталинский пересмотр истории, считает Э. Маккиннон: в них прославлялась роль Сталина и демонизировались его оппоненты – Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.

И.И. Минц участвовал в научном и производственном процессах: писал и редактировал; переписывался с авторами не только по поводу сроков и объемов материала, но и объяснял им, что и как следует писать, давал четкие и строгие инструкции о темах и характере их изложения; занимался библиографической работой; организовывал встречи между авторами и редакторами; участвовал в заседаниях и разработке годовых планов.

В 1937 г. начались репрессии в ОГИЗе, которым руководил М.П. Томский. Возникли проблемы с двумя проектами, в которых работал И.И. Минц, – «История Гражданской войны» и «История фабрик и заводов». Историк подвергся критике за недостаточную бдительность по отношению к врагам. На одном из партийных собраний 1937 г. И.И. Минц заявил, что враги проникли в проект «История Гражданской войны», поэтому необходимо усилить бдительность по отношению к авторам и редакторам, строже относиться к работе, – так, чтобы соответствовать целям и задачам,

обозначенным И.В. Сталиным на Пленуме ЦК ВКП(б) (февраль–март 1937 г.). В какой-то степени, полагает Э. Маккиннон, И.И. Минц использовал террор себе на пользу, чтобы усилить контроль над сотрудниками. Однако была и обратная сторона; как показывают материалы заседаний редколлегии, рядовые сотрудники критиковали редакторов, в том числе и И.И. Минца, упрекая их в плохой организации труда, в непрофессионализме, в том, что зачастую именно из-за них задерживается издание. И.И. Минц умело отбивал все атаки, тщательно отбирая то, с чем он согласен, и снимая с себя ответственность за проблемы, находящиеся вне его компетенции.

Э. Маккиннон подчеркивает, что во время работы над «Историей Гражданской войны» И.И. Минц много общался со Сталиным и всей партийной верхушкой, принимавшей активное участие в руководстве и редактировании этого проекта. Готовность историка переписать историю войны в соответствии с указаниями вождя помогла ему быстро занять высокие руководящие посты в разных научных учреждениях. В 1935 г. он защищает докторскую диссертацию, в следующем году становится членом-корреспондентом АН СССР, в последующие годы И.И. Минц заведует кафедрами истории СССР в МГУ (1941–1949), в МИФЛИ, ВПШ при ЦК КПСС. В 1943 и 1946 гг. И.И. Минц получает Сталинскую премию. По личному указанию Сталина историку выделили машину, дачу.

Но, несмотря на все благоволение властей, И.И. Минц оказался затронут «кампанией против космополитов». На заседаниях редколлегии в 1947–1949 гг. усилилась критика И.И. Минца как организатора и ученого. Его исторические работы критиковали за ошибочность интерпретаций, несоответствие «Краткому курсу», недооценку иностранной интервенции, доминирование фактов над теорией и т.п. Коллеги обвиняли историка в содействии троцкизму. В середине 1949 г. И.И. Минц был снят с поста руководителя Секретариата, сам Секретариат переформирован, а подготовленные тексты по истории Гражданской войны пересмотрены. Историк был уволен из МГУ, где заведовал кафедрой, и других организаций и перешел в Московский городской педагогический институт, где продолжал активно работать.

Э. Маккиннон отмечает, что даже в опале историк проявлял верность и лояльность политике властей. Например, как свидетельствуют некоторые источники, в 1953 г. он подписал неопубликованное письмо «еврейских интеллектуалов», в котором они просили о высылке в Сибирь и Казахстан. После смерти И.В. Сталина и разоблачения культа личности И.И. Минц вернул и приумножил

свои позиции в ряду влиятельнейших академиков-историков, став одним из авторов новой «антисталинской» версии истории партии. Он получил международное признание, выступал с лекциями в зарубежных университетах. В 1974 г. И.И. Минц получил Ленинскую премию за трехтомную «Историю Великого Октября». До конца 1980-х годов он был ведущим историком, определяющим направление развития историографии СССР.

И.И. Минц умер в 1991 г. По словам автора, он пережил свое время и стал «лишним» человеком, отброшенным системой. Отношение к И.И. Минцу, как и отношение к советской историографии, противоречиво. Академик Ю.А. Поляков считает, что в характере И.И. Минца переплелись типичные достоинства и недостатки советской эпохи, он не герой и не диссидент, он просто старался выжить в тех условиях. П.В. Волобуев утверждал, что И.И. Минц нанес непоправимый ущерб советским исследованиям Октябрьской революции. По мнению самой Э. Маккиннон, жизнь и творчество И.И. Минца сложно оценить однозначно, но можно сказать, что он был искусным мастером компромиссов, настоящим дипломатом, умело избегающим конфронтации. Зная особенности советской системы, он никогда полностью не отказывался от веры в Сталина, партию и своих идеалов.

В работах И.И. Минца история предстает как плавный нарратив, включающий в себя множество персональных историй, развивающийся по напряженному сценарию, с тревожными паузами и красочными примерами. По воспоминаниям бывших студентов, И.И. Минц был хорошим лектором, умевшим оживить выступление яркими образами и меткими выражениями. И.И. Минц пришел в историческую науку с профессиональной этикой комиссара Гражданской войны, напоминает Э. Маккиннон, для него партийная дисциплина была основой – фактически, история и партия были для него одним и тем же, история не могла существовать независимо от партии.

Работа Р. Зелника (1936–2004), выдающегося американского историка-руссиста, посвящена Анне Михайловне Панкратовой – специалисту по истории рабочего движения, первой советской женщине-академику в области истории (2). Американский исследователь не успел окончить эту работу, поэтому редакторы-составители включили в книгу предисловие, написанное другом и коллегой автора Ю. Слезкиным, а также несколько статей о жизни и творчестве самого Р. Зелника, материалы о его учениках. В приложении приводятся переведенные Ю. Слезкиным на английский

язык выступление А.М. Панкратовой на XX съезде КПСС, отрывки из дискуссии по поводу журнала «Вопросы истории» (1956).

А.М. Панкратова родилась в 1897 г. в Одессе, в рабочей семье. Кроме нее у родителей было еще четверо детей. Отец умер, когда девочке было девять лет. Из-за тяжелого материального положения Анна была вынуждена работать на свечной фабрике и учиться в народной школе. Затем она поступила в гимназию, которую закончила с золотой медалью. Уже в годы учебы в Новороссийском университете началась ее общественная и партийная деятельность, она занимается пропагандой и политико-образовательной работой среди рабочих, студентов и крестьян. Вначале Анна Панкратова присоединилась к левым эсерам, но уже в 1919 г. вступила в партию большевиков. В начале 1920-х годов А.М. Панкратова занимается партийно-профсоюзной деятельностью на предприятиях в разных районах страны. Именно в эти годы, полагает Р. Зелник, определяется основная сфера ее профессиональных интересов – история рабочего движения. Это был одновременно профессиональный и политический выбор, отмечает автор. Активная деятельность молодой коммунистки была отмечена местными руководящими органами – ей дали рекомендацию в Институт красной профессуры (ИКП). В годы учебы А.М. Панкратова общалась и с представителями «буржуазной науки», перешедшими на службу к советской власти (Е. Тарле, Б. Греков), и с учеными-марксистами.

Одним из самых влиятельных историков-марксистов тогда был М.Н. Покровский. Он быстро признал яркую, трудолюбивую новоиспеченную коммунистку, пишет Р. Зелник, и сделал ее своей ученицей, фактически, «правой рукой». «Под его покровительством уже к 25 годам Панкратова стала лидером “икапистов” и движущей силой в новой дисциплине – истории рабочего движения, которой она помогла придать первоначальную форму и направление и которую она продолжала формировать и направлять почти вплоть до своей кончины» (2, с. 16). К середине 1920-х годов молодая женщина-историк опубликовала несколько работ по истории фабзавкомов в России и об их роли в революции 1917 г., а несколько позже – монографию, посвященную рабочим организациям и германской революции 1918–1923 гг.

Р. Зелник обращает внимание на характерный эпизод из личной жизни А.М. Панкратовой. В конце 1920-х годов был арестован ее муж – Григорий Яковин, выпускник ИКП, коммунист, специалист по истории Германии. Г. Яковин был связан с ленинградскими троцкистами. Автор приводит версию самой А.М. Панкратовой,

которая, приехав к мужу в ссылку в Ташкент, пыталась, по ее словам, убедить его отказаться от своих политических взглядов. Он этого не сделал, и супруги расстались враждебно. Позже, в начале 1930-х годов, Г. Яковин напишет письмо Панкратовой с просьбой разрешить повидаться с дочерью. В ответ А.М. Панкратова вновь спросит мужа о его политической позиции и заявит, что у ее дочери не должно быть отца-троцкиста (2, с. 17).

Р. Зелник уделяет внимание общей ситуации в стране, идеологическим и политическим кампаниям и их влиянию на советскую историческую науку. Он отмечает, как менялись личность Панкратовой, ее позиция и даже отчасти характер в зависимости от обстановки в стране. Довольно подробно он описывает так называемое «дело М.Н. Покровского», проект А.М. Панкратовой по истории Казахстана, ситуацию с журналом «Вопросы истории».

В конце 1920-х годов научная и общественная карьера А.М. Панкратовой продолжает развиваться, она активно работает в созданной А.М. Горьким серии «История фабрик и заводов». Фактически, она руководит Комиссией по изучению российского пролетариата при Обществе историков-марксистов. В конце 1928 – начале 1929 г. А.М. Панкратова добивается проведения конференции, на которой были решены судьбы некоторых буржуазных историков, пишет Р. Зелник. Вскоре А.М. Панкратова становится профессором МГУ, а с 1935 г. возглавит кафедру истории СССР.

В 1929 г. начинаются нападки на ее учителя и старшего друга М.Н. Покровского (в это время он уже был тяжело болен), инициированные Е. Ярославским. Под его руководством в среде историков начинается осуждение школы М.Н. Покровского за идеологические отклонения и «антимарксизм», абстрактный безликий экономический детерминизм. Своего апогея травля достигает ко второй половине 1930-х годов, уже после смерти М.Н. Покровского.

Р. Зелник приводит отрывки из писем А.М. Панкратовой своему учителю, выдержаные в официальных, но дружеских и мягких тонах. В 1934 г., уже после смерти М.Н. Покровского, она тепло отзыается о нем на страницах «Вестника Коммунистической академии», называя историка «истинным учеником Ленина» (2, с. 22). К концу 1930-х годов А.М. Панкратова радикально меняет свою позицию и присоединяется к хору тех, кто критикует М.Н. Покровского и его учеников. А.М. Панкратова становится одним из редакторов и авторов двух сборников, посвященных разоблачению школы Покровского. По мнению Р. Зелника, эта перемена – своего рода покаяние, ведь написаны эти работы в самый

разгар Большого террора: А.М. Панкратова была ученицей и одной из протеже М.Н. Покровского, бывшей женой Г. Яковина, осужденного троцкиста и контрреволюционера, к тому же пусть и короткое время, но сама она была членом партии эсеров. В 1937 г. А.М. Панкратова была сослана в Саратов. Но в годы этой так называемой «ссылки» она преподавала в Саратовском университете и даже руководила кафедрой. Кроме того, она продолжала поддерживать рабочие отношения с Институтом истории в Москве. В 1939 г. А.М. Панкратова была избрана членом-корреспондентом АН СССР.

В начале войны А.М. Панкратова была эвакуирована в Алмату, где продолжала заниматься научной и научно-организационной работой. По ее инициативе была создана рабочая группа из казахских и эвакуированных историков для написания «Истории Казахстана». Р. Зелник отмечает, что в группе возникли серьезные противоречия и разногласия относительно ключевых моментов истории Казахстана. В Москве книга тоже вызвала неоднозначные оценки. Р. Зелник объясняет это возрождением русского национализма в условиях войны. Тем не менее в 1943 г. «История Казахстана» была выдвинута на Сталинскую премию, но после уничижительного отзыва академика А.И. Яковлева книгу отклонили. А.М. Панкратова пишет письмо А.А. Жданову в защиту своей работы. Фактически разгорается настоящая идеологическая борьба по поводу того, как освещать проблемы истории разных народов дореволюционной России и СССР, как трактовать национальные вопросы и т.п. На стороне А.М. Панкратовой были М.В. Нечкина, Н.М. Дружинин, А.Л. Сидоров. Их главными оппонентами были Г.Ф. Александров, возглавлявший Агитпроп, А.И. Яковлев, А.В. Ефимов и Е.В. Тарле. В результате А.М. Панкратова была вынуждена внести серьезные изменения во второе издание книги, вышедшее в 1949 г.

У А.М. Панкратовой «было девять жизней», замечает Р. Зелник, ее капитуляция перед властью была оценена по достоинству. Ей удалось сохранить руководящие посты, а после войны получить Сталинскую премию за другую работу – «История дипломатии». В 1949 г. А.М. Панкратова была назначена в редакцию недавно созданного журнала «Вопросы истории», а в 1953 г. ее избрали академиком АН СССР.

Как пишет Р. Зелник, в журнале «Вопросы истории» «публиковались солидные научные статьи, во многих аспектах оспаривающие сталинские догмы в интерпретациях прошлого, бросаю-

шие вызов “священным коровам” советской историографии, однако ищущие безопасности под защитной мантией Ленина» (2, с. 53). Широкий круг проблем истории России, СССР, стран Европы, США теперь получил новое свежее освещение. Кроме того, как отмечает автор, А.М. Панкратова лично добилась от ЦК КПСС повышения зарплаты сотрудникам (ей и ее заместителю были назначены высокие оклады), улучшения условий труда и качества издания. В результате этих изменений тираж журнала заметно вырос. Но вскоре стали раздаваться критические замечания в адрес А.М. Панкратовой, вначале они касались стиля ее руководства, принципов отбора материала и т.п. Но затем критика стала шириться (в разных изданиях публиковались письма и критические замечания) и приобретать идеологический характер.

Тон критиков, пишет Р. Зелник, был разным. Некоторые были настроены сурово и критиковали редакцию журнала «Вопросы истории» со сталинистских позиций, обвиняя главного редактора, ее заместителя и членов редколлегии в пособничестве меньшевизму, троцкизму или меньшевизму-троцкизму, в нарушении канонов и искажении теории ленинизма, клевете на историю партии, в чрезмерности критики Сталина (кампания против журнала происходила после XX съезда партии). Менее жесткие оппоненты признавали, что несмотря на все ошибки, допущенные редколлегией, статьи, опубликованные в «Вопросах истории», внесли существенный вклад в науку. Критики, поясняет автор, в какой-то степени были пойманы в ловушку: еще были свежи выводы XX съезда, и поэтому они были вынуждены согласиться с тем, что в годы сталинизма история партии была искажена и нуждалась в пересмотре.

Первое время А.М. Панкратова пыталась защитить себя и отстоять политику журнала (она написала письмо Н.С. Хрущёву). Но критика в адрес «Вопросов истории» стала раздаваться со страниц профессиональных и политических изданий и достигла своего апогея на закрытом заседании кафедры истории КПСС исторического факультета Академии общественных наук осенью 1956 г. В начале 1957 г., ссылаясь на ухудшение состояния здоровья и снижение работоспособности, А.М. Панкратова написала заявление об отпуске. Но уже в марте 1957 г. А.М. Суслов и П.Н. Поспелов, с ведома Н.С. Хрущёва, приняли решение реорганизовать редколлегию журнала. В отставку был отправлен Э.Н. Бурджалов, заместитель и соратник А.М. Панкратовой. В условиях травли тяжело больная А.М. Панкратова совершила не свойственный ей акт явного неповиновения начальству: она отказалась писать заявление об уходе.

21 мая, за четыре дня до смерти, в больнице она подписывает в печать мартовский (т.е. заметно опоздавший с выходом) номер журнала. В этом номере новые, назначенные сверху редакторы «покорно признали бессмысленные обвинения, выдвинутые против предшественницы» (2, с. 62).

Известный историк-эмигрант, меньшевик Б.Н. Николаевский отозвался на смерть А.М. Панкратовой. В рукописи, хранящейся в Гуверовском архиве, отмечается, что А.М. Панкратова никогда не была крупным ученым, но она была хорошим организатором науки. Ее жизнь – это «“личная трагедия” человека, который стремился следовать линии партии, ходить по канату, но эта линия изгибалась и менялась так часто и резко, что она была не в состоянии следовать всем ее поворотам. <...> Надо отметить, – пишет Б.Н. Николаевский, – что ее жизнь интересна не сама по себе, а как зеркало, отражающее историю внутреннего развития и внутренние противоречия советского коммунизма и советской исторической науки» (2, с. 63).

Завершая рассказ о жизни А.М. Панкратовой, Р. Зелник пишет, что она не была ангелом или демоном, она была человеком, который делал много плохого, но также и много хорошего, «пытаясь держать курс через бурные советские моря» (2, с. 66).

*Ю.В. Дунаева*

**Поллок Э.**

**СТАЛИН И СОВЕТСКИЕ НАУЧНЫЕ ВОЙНЫ**  
**(Реферат)**

Ref. ad op.: Pollock E. Stalin and the Soviet science wars. – Princeton: Princeton univ. press, 2006. – 288 p.

Монография американского историка Э. Поллока (Брауновский университет) посвящена истории так называемых «научных дискуссий» 1946–1952 гг., которые интерпретируются как ответ сталинского государства на внутри- и внешнеполитические вызовы послевоенных лет. Центральная проблема книги – взаимоотношения политики и науки, власти и знания. Исследование написано на основе недоступных прежде архивных источников, что позволило выявить, во-первых, центральную роль Сталина в этих научных дебатах; во-вторых, проследить хитросплетения кремлевской политики в области науки и показать организационные механизмы, приводившие ее в движение.

В центре внимания автора – шесть «наиболее заметных», по его словам, научных дискуссий, которым посвящены соответственно шесть глав его монографии. Это дебаты в области философии, биологии, физики, языкоznания, физиологии и политэкономии, в которых активное участие принимал лично Stalin. Все обсуждавшиеся темы, пишет Э. Поллок, имели ключевое значение как для «легитимации партии», так и для выработки «советского мировоззрения» в условиях начавшейся холодной войны (с. 2). Марксистско-ленинская философия составляла фундамент идеологии, физиология и биология имели прямое отношение к проекту создания «нового советского человека» и к преобразованию природы на научных основаниях. Квантовая механика и теория относительности в физике, считавшиеся столь важными для разработки

ядерного оружия, требовали особого внимания, поскольку несли в себе потенциальную угрозу материалистической эпистемологии марксизма-ленинизма. Лингвистика имела прямое отношение к проблемам самосознания, классовому и национальному вопросам. А в задачи политэкономии входили критика капитализма и обоснование преимущества советского социализма, а также создание «дорожной карты» для построения коммунизма в СССР и во всем мире (с. 3).

По мнению автора, при Сталине Советский Союз в своем признании центральной роли науки и необходимости ее государственной поддержки пошел дальше всех других стран. Сталин считал, что принципы научного управления не только производством, но и обществом помогут построить «царство свободы» на Земле. И сделать это можно, только руководствуясь учением марксизма-ленинизма – «единственно научной теорией», на принципах которой и должны строиться все науки о природе и обществе. Партия также действовала на принципах рациональности и научности, на чем и основывалась ее политическая власть, пишет Э. Поллок. Так что наука играла уникальную роль в советской идеологии, которая «по определению являлась точным описанием материального мира, в то время как буржуазная идеология состояла из лжи и обмана» (с. 4). Но, продолжает автор, ученые тоже утверждали, что их работа отражает объективную реальность. И случаи, когда наука вступала в противоречие с советской идеологией – и прежде всего с «линией партии» – требовали особого разбирательства.

Взаимоотношения между наукой и Коммунистической партией эволюционировали с 1917 г. в сторону усиления партийного контроля при одновременном увеличении поддержки научных исследований. Вторая мировая война внесла коррективы в этот *modus vivendi*, создав ситуацию определенной автономии для советской науки, которая вошла во взаимодействие с мировым научным сообществом. К тому же изобретения, сделанные в годы войны (в частности, изобретение ядерного оружия, радара, антибиотиков), со всей определенностью продемонстрировали, что наука является ключевым компонентом национальной безопасности. А с началом холодной войны стало ясно, что наука станет и важной сферой международного соперничества; перед советскими учеными была поставлена задача перегнать Запад. Финансирование Академии наук резко возросло, так же как и количество институтов. Как пишет автор, «в обмен на преданность и тяжелый труд Сталин дал ученым материальные условия, которые были чрезвычайно редки

в СССР того времени» (с. 5). Он отмечает, что наука стала важной сферой мирового соперничества еще в одном отношении: советские ученые становились бойцами «идеологического фронта», от них требовалось не только критиковать Запад, но и экспортить идеи в новые социалистические государства Восточной Европы и Азии, демонстрируя всему миру советское интеллектуальное превосходство над капитализмом.

Реальные условия жизни в СССР в 1945–1947 гг. были настолько тяжелыми, что это несло в себе угрозу социального недовольства и могло подорвать веру в социалистическую систему. Именно поэтому, пишет Э. Поллок, партия вместо того чтобы «ослабить хватку», начала «закручивать гайки» и искать «козлов отпущения». Как и все советские граждане, ученые существовали в реалиях холодной войны, когда мир оказался поделенным на два лагеря. Так называемые «научные дискуссии» явились тем инструментом, при помощи которого партия обеспечивала преданность ученых государству и их верность принципам социалистической идеологии (с. 5–6).

Дискуссии разворачивались в условиях начавшейся борьбы с «тлетворным влиянием Запада», причем критика «буржуазной науки» вскоре обрела отчетливую патриотическую и националистическую направленность. Во всеуслышание объявлялось о приоритете русских во всех областях мировой науки, и одновременно с разворачиванием кампании по борьбе с космополитизмом «новый советский патриотизм – в его русоцентричном проявлении – стал мерилом для оценки конкретных ученых, и даже их науки» (с. 7).

Секретные документы показывают, пишет автор, насколько встревожились партийные лидеры, когда они осознали, что в советской физике, экономике и других областях доминируют евреи и представители других этнических меньшинств. Ксенофобия и «антикосмополитизм» (эвфемизм антисемитизма) пронизывали научные дискуссии, которые превращались в судилища конкретных ученых – как правило, не русских – за их контакты (или просто цитирование) иностранцев. Причем, отмечает Э. Поллок, в дискуссии были вовлечены самые могущественные руководители партии и государства – Жданов, Маленков, Берия, которые использовали их для укрепления своей власти и завоевания благосклонности Сталина.

По наблюдениям автора, каждая из шести дискуссий начиналась с разногласий по какому-либо конкретному научному вопросу, которые выплескивались на страницы газет и специальных

изданий и затем рассматривались в ЦК. Руководители советской науки, в частности президент АН СССР С.И. Вавилов и министр высшего образования С.В. Кафтанов, пристально наблюдали за диспутами и направляли свое мнение Сталину и секретарям ЦК. Рядовые ученые также представляли свои аргументы либо в форме публикации критических статей, либо в виде прямых письменных обращений в партийные структуры. В ЦК обязанность контролировать науку лежала на Управлении пропаганды и агитации (Агитпропе) и Отделе науки и образования, которые, однако, не обладали властью решать крупные конфликты самостоятельно.

На второй стадии каждой дискуссии, продолжает Э. Поллок, партийное руководство и ученые приступали к совместному разрешению конфликта и вырабатывали единую идеологическую позицию (платформу). В зависимости от степени серьезности конфликта решения принимались Секретариатом ЦК либо передавались на самый верх, в Политбюро и Сталину лично. Иногда Сталин полностью менял подготовленные на низовом уровне решения, и непредсказуемость его действий держала и ученых, и партийных организаторов дискуссий в состоянии неопределенности и неуверенности в верности выработанных ими рекомендаций. По замечанию автора, от ученых требовалось в ходе дебатов привести свои дисциплины в соответствие с догмами марксистско-ленинской идеологии, хотя далеко не всегда они были ясны самим партийным кураторам. В качестве «маяков» избирались такие авторитеты, как физиолог Павлов, лингвист Марр (вскоре развенчанный), но признанным «корифеем наук» являлся Сталин. Он был единственным человеком в Советском Союзе, который никогда не ошибался, и потому научные дискуссии не могли прийти к какому-то конечному результату прежде, чем Сталин выскажет свою точку зрения. Тем не менее результаты дискуссий никак нельзя было признать окончательными. Попытки применить их рекомендации обнаруживали все новые противоречия в советской идеологии (с. 8–9). В частности, при подготовке материалов для Большой Советской энциклопедии в 1951 г. возникли проблемы с написанием целого ряда таких основополагающих статей, как «Наука», «Дарвинизм» или, к примеру, «Деньги» (с. 213).

Дискуссия по философии началась в декабре 1946 г., когда во время встречи в Кремле Сталин объявил о том, что «История западноевропейской философии» Г.Ф. Александрова (начальника Агитпропа) преувеличивает влияние Гегеля и других немецких философов на марксизм. Кульминацией дискуссии явилась встреча

в ЦК, на которой Жданов прямо атаковал Александрова и философскую науку в целом. В монографии рассматриваются «аппаратные игры» вокруг философской дискуссии, которые привели к ослаблению позиций Жданова, и подчеркивается, что, несмотря на решения и постановления Политбюро, учебник по истории философии был опубликован лишь в 1957 г. (с. 39).

В том же ключе описывается дискуссия по биологии, которая привела к разгрому советской генетики на августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. Показывается, как «народному академику» Лысенко, чьи позиции были не столь уж прочны, удалось одержать решительную победу благодаря личной поддержке Сталина, искренне убежденного в верности идеи о наследовании приобретенных признаков. По замечанию автора, торжество «мичуринской биологии», как это ни печально, воспринималось большинством советских граждан – читателей «Правды» как триумф советской науки (с. 71).

Всесоюзное совещание физиков, планировавшееся на начало 1949 г. по образцу сессии ВАСХНИЛ и готовившееся в течение нескольких месяцев силами физиков и философов под руководством чиновников Министерства высшего образования, так и не состоялось. Физикам удалось создать сильную «группу влияния». Более того, руководивший советским атомным проектом Берия признал целесообразным защитить ученых от нападок идеологических фанатиков (с. 102).

Дискуссии в языкоznании, состоявшейся весной 1950 г., предшествовала кампания по возвеличиванию роли Н.Я. Марра в создании «патриотической советской лингвистики». И здесь впервые Stalin вступил в дискуссию в роли писателя, опубликовав в «Правде» серию статей с критикой марризма. В них говорилось, в частности, о том, что свобода критики и обмен мнениями есть главные условия развития науки. Парадокс заключался в том, что Stalin при этом оставался единственным носителем объективной «истины», и его мнение, в конечном счете, и являлось «единственно верным» (с. 135).

Так называемые «павловские сессии» Академии наук СССР и Академии медицинских наук, нацеленные на борьбу с буржуазным влиянием в физиологии и психиатрии, были организованы к столетию «великого патриота и материалиста» И.П. Павлова. В этом случае, отмечает автор, впервые партии удалось остаться в тени и организовать дискуссию так, что все было сделано руками самих ученых. Однако начавшийся почти сразу же после смерти

Стилна пересмотр «окаменелых» определений в физиологии свидетельствует о том, что роль партии в руководстве наукой воспринималась все более негативно (с. 166–167).

Последняя глава посвящена совещанию, состоявшемуся в конце 1951 г., на котором сотни экономистов и политических деятелей собирались в ЦК для обсуждения проекта учебника по политэкономии. Его предполагалось использовать не только в СССР, но и в других странах социалистического лагеря, что требовало особо выверенных формулировок. Стилн играл ведущую роль как в организации дискуссии, так и в содержательной ее части. Его статьи и ответы на письма участников были опубликованы в 1952 г. в виде книги «Экономические проблемы социализма в СССР». Здесь со всей определенностью выявились претензии Стилна на роль великого теоретика в традиции Маркса-Энгельса-Ленина. По мнению автора, Стилн действительно считал себя ученым, а его «вторжение» в науку имели своей целью ее укрепление и «оздоровление». Он, во-первых, продемонстрировал «замечательное интеллектуальное высокомерие», поучая специалистов в их областях знания, во-вторых – привнес в науку политические методы решения научных споров (с. 217).

Официально считалось, что научные дискуссии достигли своей цели и «успешно согласовали» марксистско-ленинскую идеологию и новейшие открытия в науке, пишет автор в заключении, оценивая результаты этих кампаний. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаются трудности, которые возникали при попытках встроить советский патриотизм в марксистско-ленинское учение с его классовым подходом. Кроме того, ориентированные Стилн и партией на поиски «объективной истины», советские ученые далеко не всегда могли согласовать ее с теми истинами, которые диктовались марксистско-ленинской доктриной (с. 216).

В то же время призывы Стилна «обеспечить свободу мнений» многие восприняли буквально. По мнению Э. Поллока, прямым результатом подобных призывов явилось то, что уже в 1952 г. ЦК обратил внимание на многочисленные письма биологов, критиковавших Лысенко, чьи позиции в итоге сильно пошатнулись. Другой пример, приведенный автором, касается организации в 1950-е годы Института мировой экономики и международных отношений, который называли «инкубатором нового поколения специалистов». Многие из проблем, изучавшихся ими, уже поднимались на дискуссии 1951 г. (с. 218–219).

При Хрущёве ученые стали элитой советского общества, причем их статус зависел от их способности к инновации, а не повторению партийных лозунгов, утверждает Э. Поллок. С приходом к власти Горбачёва, верившего, что наука сможет вдохнуть новую жизнь в социализм, если будет «говорить правду», началась эпоха гласности. «Стремительный поток правды» в итоге смыл идеологические основы системы (с. 220).

*O.B. Большакова*

**Ларюэль М.**  
**КОНЦЕПЦИЯ ЭТНОГЕНЕЗА В СРЕДНЕЙ АЗИИ:**  
**ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ**  
**И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕДИАТОРЫ (1940–50)**  
**(Реферат)**

Ref. ad op.: Laruelle M. The concept of ethnogenesis in Central Asia. Political context and institutional mediators (1940–50) // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. – Bloomington, 2008. – Vol. 9, N 1. – P. 169–188.

Марлен Ларюэль, сотрудница Центра исследований России, Кавказа и Центральной Европы Школы социальных наук (Париж), анализирует особенности взаимодействия идеологии государства и задач научных исследований в области происхождения народов советской Средней Азии в последнее десятилетие сталинского режима. Этот период, отмечает автор, не получил пока широкого освещения в зарубежной историографии.

Сталинская эпоха традиционно воспринимается как время «возвращения» русского национализма, который был отвергнут в первые годы большевистского режима, но позднее становился все более значимым элементом официального дискурса. В контексте тесной связи политики и науки в СССР особенно мощное давление и частые вмешательства извне испытывали исторический дискурс и смежные с ним этнология и археология. Автохтонизм<sup>1</sup> как поли-

---

<sup>1</sup> Автохтонизм – идея о генетической и языковой непрерывности населения той или иной территории, обосновывает историческое право коренных народов на территорию. Примерами автохтонизма в историографии являются антнорманизм и гипотеза Б.А. Рыбакова об автохтонности славянского населения в доисторической период. – Прим. реф.

тическая и нарративная матрица для описания идентичностей советских народов в 1920–1930-е годы хорошо известен по целому ряду исследований западных ученых, проливших свет на устойчивые связи между политической средой, развитием социальных наук и формированием дискурса национальной идентичности.

С начала Второй мировой войны и до смерти Сталина даже в условиях полного доминирования ждановщины в идеологии национальные историографии – по крайней мере в Средней Азии – могли предлагать исторические интерпретации, поддерживавшие значимость титульных наций. Завершение эпохи масштабных сталинских репрессий для элит союзных республик означало возможность почувствовать стабильность, большую самостоятельность издательской деятельности, выгоды институализации республиканских академических центров. Народы, признанные автохтонными, получали преимущества титульной национальности, а идея автохтонизма стала основой формирования дискурсов для легитимизации новых республиканских общностей.

Понятие автохтонности утвердилось в историографии в связи с концептуализацией принципов этногенеза, благодаря чему сформировалось представление о единстве народа, территории, им населяемой, и государственного образования. Этногенетический дискурс сложился в специфическом контексте конца 1930-х годов; он был предложен историками, главным образом, русскими, которые стремились распространить на среднеазиатские республики принципы автохтонности, применяющиеся ими при анализе истории России. Пик славы этого дискурса пришелся на последнее десятилетие сталинской эпохи, хотя и сегодня в сфере исследований этногенеза он сохраняет статус общепринятого, пишет автор. Главное социальное пространство дискурса, как считает автор, – республиканские академии наук (с. 170).

Для Средней Азии первые два десятилетия советской власти прошли под знаком борьбы с пантюркизмом и панисламизмом, которые могли привести к формированию единого фронта против Москвы. Создание в Средней Азии пяти национальных и двух автономных республик, осуществленное в 1924–1936 гг., основывалось не только на принципах политики «разделяй и властвуй», но и необходимости распределения природных, производственных и символических ресурсов между новыми социумами, которые предстояло консолидировать. Помимо историографии, которая на первых порах сохраняла скорее региональный, нежели республиканский характер, важную роль в этом процессе сыграла лингвист-

тика. «Конструирование» литературных языков облегчалось введением кириллического алфавита, благодаря чему различия между новыми национальными языками становились более очевидными.

Фашистское вторжение в 1941 г. потребовало использования всех средств, вплоть до союза со вчерашним врагом – национализмом, пишет М. Ларюэль. Историческое превосходство Советского Союза обосновывалось славным прошлым всех регионов страны, включая и среднеазиатские республики. Обращение к событиям прошлого «перефокусировало» национальные чувства на историю «этноса» в эссециалистском понимании этого феномена. Экзальтация отношения к древней истории не просто давала выход национальным чувствам, компенсируя признание в русских «старшего брата», но служила утверждению официальной идеи об уникальном генетическом единстве культур, объединенных в Советском Союзе, «наследнике единого исторического пространства, существовавшего с незапамятных времен». Историческая ретроспекция трансформировалась в национальную судьбу, в которой, согласно со статусом в советской государственной иерархии, нашлось место каждому народу с присущим ему *Volksgeist* – «духом народа» (с. 172).

Развитие этногенетического дискурса каждого из народов Средней Азии сопровождалось институализацией республиканских академий наук. Представительства АН СССР существовали в столицах республик с 1920-х годов, но национальные академии были созданы в военные годы, а в Киргизии только в 1954 г. Конференция по этногенезу среднеазиатских народов, состоявшаяся в Ташкенте в 1942 г., означала официальное введение этногенетической проблематики в национальные историографии Средней Азии.

В Узбекистане эти исследования были начаты с подготовки к празднованию юбилея величайшей фигуры узбекской литературы – Алишера Навои (1441–1501), присутствовавшего и в национальном пантеоне таджиков. Председателем юбилейной комиссии стал известный востоковед, специалист по истории Золотой Орды А.Ю. Якубовский (1886–1953). Через два года Академия наук Узбекской ССР приняла решение о подготовке двухтомника «История народов Узбекистана», который вышел в свет в 1947–1950 гг.

Крупнейшей фигурой советской Академии наук в среднеазиатских исследованиях стал С.П. Толстов (1907–1976), возглавлявший в 1942–1965 гг. Институт этнографии АН СССР и известный журнал «Советская этнография». Толстов руководил работой археолого-этнографической Хорезмской экспедиции. Его работа

«Древний Хорезм» (1948) была отмечена Сталинской премией (1949). Одновременно Сталинской премии были удостоены и работы Б.А. Рыбакова по ранним этапам русской истории. Выбирая между двумя претендентами на награду, Сталин в последний момент единолично принял решение о награждении обоих (с. 179). В последующем Толстов был одним из главных редакторов 5-томной «Истории Узбекской ССР» (1955–1958).

Становление академической науки в Таджикистане было связано с деятельностью Б.Г. Гафурова, обратившегося к этногенетическим сюжетам в работе «История таджикского народа в кратком изложении». На таджикском языке она вышла в 1947 г., на русском – в 1949-м.

Конкуренция «за свою долю» исторического прошлого развернулась между исследователями узбекского и казахского этногенетического процессов. В.Ф. Шахматов, в частности, отмечал использование «буржуазной миграционной теории» в «Истории Казахской ССР» (1943), в то время как в «Истории народов Узбекистана» была доказана «подлинность теории автохтонности». Вместе с тем, по мнению Шахматова, казахский номадизм не может служить доказательством того, что казахи являются мигрантами-пришельцами, и население «казахской национальности» не уступает в древности своим узбекским соседям (с. 180). В 1970-х годах в Казахстане в этногенетический дискурс включаются проблемы расового происхождения. К концу десятилетия были опубликованы работы Оразака Исмагулова (1930 г.р.), директора Лаборатории этнической антропологии Института истории и этнографии Казахской академии наук, обосновывавшие расовое единство казахов и их превосходство над другими тюрко-монгольскими народами в плане гармоничности физических признаков, указывает автор (с. 183). Позднее его книга «Этническая геногеография казахов» (1977) подверглась критике как «националистическая». В Казахстане (как и в Туркменистане) были, таким образом, предприняты попытки на основе антропологических данных создать образы «неделимых наций», без выраженных антропологических различий племен, кланов, региональных групп (с. 183–184).

Формирование этногенетического дискурса Туркмении связано с именем А.Ю. Якубовского. В статье «Вопросы этногенеза туркмен в VIII–X вв.» (Советская этнография, 1947, № 30) исследователь обосновывал присутствие предков современного населения в регионе уже в VI в. В 1960-х годах антропологические версии «скифского происхождения» были дополнены лингвистическими

данными о возможном длительном существовании в регионе персидско-туркского двуязычия. Эта точка зрения прозвучала на специальной конференции 1967 г. Академии наук Туркмении (с. 182). Работы по этногенезу киргизов появились только во второй половине 1950-х годов. Этногенетические дискурсы, сформировавшиеся на протяжении короткого периода (в Средней Азии между 1941 и 1956 гг.), продолжали сохраняться на протяжении всего советского периода и даже после распада Советского Союза.

Наиболее авторитетные из ученых, стоявшие у истоков этногенетических теорий в Средней Азии, сделали блестящую научную карьеру в последнее десятилетие сталинского режима. Их научные теории получили поддержку и одобрение на уровне первых лиц государства. Якубовский, Толстов, Гафуров и Шахматов получили образование в Москве, они входили в советский академический истеблишмент. Автор отмечает, что в дальнейшем этногенетические исследования, авторами которых были преимущественно русские, никогда не расценивались как дискриминационные или «иностранные», напротив – они были восприняты локальными (республиканскими) академиями и оценивались ими как «национальные».

Дискурс этногенеза, пишет М. Ларуэль, тесно связан с политической задачей консолидации идентичностей населения советских республик, которые создавались в 1920–1930-х годах. Страстное желание большевиков связать идентичности с «почвой» – вместо принципа австрийских марксистов о национальной и культурной автономии индивида – кристаллизовалось в идею неразрывной связи коллективного субъекта этих прав и его территориальности. Главной целью национальных историй становился поиск государственных образований (или их более ранних форм), в рамках которых и происходило объединение населения и территории его обитания с «незапамятных времен» (с. 187).

Советские научная и политическая элиты сталинской эпохи способствовали рождению местного патриотизма или «республиканизма», который быстро, уже в 1940-х годах, приобрел атрибуты нации-государства. Хотя термин в то время не использовался, как буржуазный, и не вписывался в логику унификации советской государственной структуры, арсенал научных аргументов в поддержку республики как нации-государства тем не менее совершенствовался.

Постулат параллелизма формирования населения и протогосударственных структур на определенной территории, а также заявления о второстепенности кланов, племен, более ранних территориальных образований, поскольку все они исчезли в плавильном

котле этногенеза, свидетельствуют о том, что социум достиг состояния модерности в форме нации-государства. Поиски автохтонности среднеазиатских народов, которые начались в 1940-х годах в форме научных исследований этногенеза, все еще продолжают приносить свои плоды. Истоки наследия современных государств Средней Азии, полученного ими в 1991 г. от Советского Союза, восходят к последнему десятилетию сталинского режима. Наследие заключается в идеологии нации-государства, которая вполне им подходит, по крайней мере, сегодня, и не требует принципиальной методологической корректировки в области истории, археологии и этнологии.

*Т.Б. Уварова*

Брейн С.

**ПЕСНЬ О ЛЕСАХ: РОССИЙСКОЕ ЛЕСОВОДСТВО  
И СТАЛИНСКАЯ ОХРАНА ПРИРОДЫ, 1905–1953**  
(Реферат)

Ref. ad op.: Brain S. Song of the forest: Russian forestry and Stalinist environmentalism, 1905–1953. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2011. – VIII, 232 p.

Монография американского историка Стивена Брейна написана в русле относительно нового направления в зарубежной историографии – истории окружающей среды (environmental history), которая занимается изучением взаимоотношений человека и природы. В центре внимания находится советская политика в области охраны лесов в годы правления Сталина, рассматриваемая в совершенно новом ключе.

Долгое время, пишет автор, западные специалисты по истории окружающей среды единодушно считали, что Сталин и его правительство были настроены крайне враждебно по отношению к природоохранным мероприятиям. Такое впечатление складывалось под влиянием ряда факторов. К началу 1980-х годов зарубежные русисты констатировали в СССР наличие серьезных экологических проблем, большинство из которых коренились в сталинской эпохе. В трудах историков, находившихся под впечатлением грандиозных планов первых пятилеток по индустриализации, широко цитировались Горький и Мичурин с его знаменитой фразой: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее – наша задача». Наконец, такое впечатление усиливалось тем фактом, что в 1960–1970-е годы, когда на Западе шла активная борьба за защиту окружающей среды от промышленного загрязнения, в Советском Союзе не было принято аналогичных мер. Общее мнение своди-

лось к тому, что первоначальные планы большевиков по охране природы и здоровья населения были разрушены во времена сталинского «большого скачка», когда получили приоритет другие направления (с. 2–3). Иными словами, все недостатки советской политики в области охраны окружающей среды экстраполировались на сталинскую эпоху, когда, как считалось, обычное для капиталистической индустриализации небрежение природой дополнялось убежденностью большевиков в том, что для достижения прогресса ее следует «преодолеть».

В книге показано, что охране природы, прежде всего сбережению лесов, в сталинском СССР придавалось большое значение. Автор исследует «сталинский энвайронментализм» (environmentalism – система представлений о том, что окружающая среда играет важную роль в обществе и требует к себе бережного отношения. – Прим. реф.), его истоки и особенности. По его словам, в начале XX в. в России сложилась и обрела большую популярность особая этика отношения к природе, связывающая воедино русскую национальную идентичность, «красоту и здоровье» лесов и устойчивое экономическое развитие (с. 2). В области лесоводства «революционные» взгляды на преобразование природы возобладали совсем ненадолго, в годы первой пятилетки. Затем произошло «возвращение к истокам», причем, как считает автор, исключительно благодаря фундаментальному значению леса как одной из категорий русской культуры (с. 4). Лес ассоциировался в первую очередь со «старой» Россией, что для одних являлось свидетельством былого могущества, для других – отсталости; для многих писателей и художников XIX в. лес связывался с красотой русской земли и русского человека (с. 5–6).

Особенности «сталинского энвайронментализма» заключались не только в его опоре на достаточно консервативные, по мнению автора, взгляды дореволюционных лесоводов с их романтическим национализмом. В отличие от западного энвайронментализма, традиционно ассоциирующегося с либерализмом, демократией и индивидуализмом, сталинская природоохранная политика шла своим путем. Центральное место в ней занимала идея о необходимости сохранения и восстановления лесов, что должно было работать на общее благо, поскольку имело большое народнохозяйственное значение. К началу 1930-х годов были выработаны аргументы в защиту лесов и затем претворены в конкретное законодательство. Они опирались на концепцию русского почвоведа В.В. Докучаева, разработанную им в ходе изучения причин голода 1891 г. и доказывавшую значение лесов для сохранения полноводности русских рек.

Утверждая, что обезлесение больших пространств Русской равнины ведет к обмелению рек и грозит провалом планов по строительству гидроэлектростанций, советские лесоводы сумели приобрести поддержку в высших эшелонах власти. Кульминацией лесоохранной политики СССР явился так называемый «Сталинский план преобразования природы» (1948). Он предусматривал создание лесозащитных полос на территории площадью почти 6 млн га и не имел мировых прецедентов по своим масштабам.

Размах пропагандистской кампании, начатой в поддержку грандиозного плана, подчеркивает название книги: оно отсылает читателей к оратории Дм. Шостаковича «Песнь о лесах» (1949), за которую опальный композитор получил Сталинскую премию. В названиях глав используется лесоводческая терминология; они отражают события жизненного цикла леса: «Девственный лес: Возникновение лесоустройства в России»; «Семена: Новые взгляды на русский лес»; «Низовой пожар: Русский лес и большевистская революция»; «Сплошная вырубка: Лес, сведенный в годы первой пятилетки»; «Возобновление: Лесоохрана возвращается в Советский Союз»; «Преобразование: Сталинский план преобразования природы».

Кратко рассмотрев дореволюционную историю лесного дела и законодательства в России, которое со временем Петра I находилось под сильным влиянием Германии, С. Брейн обращается к системе взглядов на ведение лесного хозяйства, складывавшуюся в лесоводстве после 1905 г. В центре его внимания находится фигура Георгия Фёдоровича Морозова (1867–1930) – профессора Лесного института в Петербурге, редактора влиятельного «Лесного журнала», автора классического труда «Учение о лесе» (1912). В его целостном (холистическом) учении лес представлял как биологическое, географическое и историческое явление, тесно связанное с природной средой – климатом, почвой и животным миром. Морозов, во многом в противовес воззрениям господствовавшей ранее германской традиции с ее стремлением к созданию идеально организованного лесного пространства, выработал новый подход, в котором связал воедино экономическую функцию (лесное хозяйство) с природоохранной (лесоводство). Этот подход базировался на «обманчиво простом утверждении», что «рубка леса и его возобновление есть синонимы» и что русские леса требуют к себе более осторожного отношения, чем леса Западной Европы. И потому лесничие должны активно, но ненасильственно регулировать жизнь каждого конкретного лесного участка в соответствии с его биологическими потребностями.

Еще до революции 1917 г. Морозов и его многочисленные последователи выступали за национализацию частных лесов (которые составляли в 1914 г. чуть более 20%), утверждая, что только правительство может поставить во главу угла здоровье леса, а не извлечение прибыли. После Октябрьской революции эта позиция встретила противодействие сторонников максимизации промышленного производства древесины, которые считали, что «революция покончила с подчинением человека природе» и освободила его от «старомодных идей о необходимости сохранять лесные ресурсы».

По словам автора, в 1920-е годы советское руководство пыталось следовать обоим идеалам одновременно. Лесное хозяйство, занимавшееся лесонасаждением и лесоводством, находилось в подчинении Наркомата земледелия (Наркомзема), а лесная промышленность (рубка леса и переработка древесины) входила в компетенцию ВСНХ. Таким образом, Наркомзем был заинтересован в лесоохране, а ВСНХ в соответствии с общей направленностью политики военного коммунизма и Декретом 1918 г. «О лесах» требовал неограниченного доступа к лесным ресурсам Республики Советов для максимального удовлетворения государственных нужд. В книге прослеживается борьба двух ведомств и подчеркивается тот факт, что Совнарком и, главное, Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин), самым тесным образом связанная с партийной верхушкой и лично со Сталиным, постоянно принимали сторону Наркомзema. В результате полномочия этого ведомства все расширялись, что позволяло как-то нивелировать урон, нанесенный лесам во время бесконтрольного и хищнического их истребления в годы Гражданской войны.

Автор подробно рассматривает дебаты между сторонниками «романтизированного» морозовского подхода к лесу как живому организму, требующему естественной регенерации (осторожно направляемой человеком), и радикальными защитниками «технократического» метода, который вел к обезлесению Европейской России. Не оставляет он без внимания и давние споры о так называемых «крестьянских» лесах; в годы нэпа дискуссии вращались вокруг темы «смычек» города и деревни. Предполагалось привлечь крестьянство к управлению «лесами местного значения»; в рамках этой программы в 1924 г. для деревни был учрежден новый праздник – День леса, когда приветствовались посадки деревьев школьниками. Это должно было в корне изменить психологию и выработать бережное отношение к лесу (с. 76–77).

Тем не менее в годы сталинского «большого скачка» требования индустриализации резко изменили соотношение сил. В декабре 1930 г. было аннулировано все предшествующее лесное законодательство, и вскоре ВСНХ получил в полном объеме полномочия, которых безуспешно добивался с момента своего основания. «Дорога к бесконтрольной эксплуатации леса была открыта», — пишет автор (с. 100). Однако, продолжает он, сталинское руководство почти сразу же пожалело о своем решении. В 1930 г. в Ленинградской области было вырублено 147% от ежегодного прироста леса, а в Московской — 229%. В Рязанской области план по лесозаготовкам был выполнен на 46 лет вперед (там же). В этих условиях сторонники охраны лесов и выдвинули на первый план новый аргумент. Они начали доказывать, что быстрое исчезновение лесов опасно для гидрологического режима рек Европейской России, что несет прямую угрозу проектам по строительству плотин и электростанций, в частности Днепрогэса.

Эти аргументы были восприняты в правительстве, во всяком случае в той их части, которая касалась усиления лесоохраны вблизи рек: вырубать леса в километровой зоне по обоим берегам Волги, Днепра, Дона было полностью запрещено. Немалую роль в принятии этого решения и в дальнейшем развитии лесоохранного дела сыграл лично Сталин. В июле 1931 г. указом Совнаркома все леса страны были поделены на две зоны — лесопромышленную и лесоохранную. Таким образом, менее чем через год после передачи всех лесных ресурсов в ведение ВСНХ охрана лесов вновь обрела государственное значение. А в 1936 г. было создано новое ведомство — Главное управление лесоохраны и лесонасаждения (ГЛО), в чью функцию входил контроль над так называемыми «водоохранными лесами», зона которых колоссально расширилась. В ведение ГЛО было передано более 50 млн га, или третья часть лесов Европейской России, причем самых лучших и продуктивных. Как и в 1931 г., решение исходило с самого верха.

Финансирование ГЛО неуклонно увеличивалось, а в 1940 г. после заключения пакта Молотова—Риббентропа и присоединения новых территорий в ведении ГЛО уже значилось 74 млн га лесов. Учреждение ГЛО заложило институциональную основу для развития теории и практики охраны леса и способствовало формированию сообщества специалистов лесного хозяйства и лесоохраны. ГЛО издавало ежемесячный журнал «За защиту леса», где публиковались статьи о новейших открытиях в области лесонасаждения и лесоохраны, а также о проблемах гидрологии. Кроме того, ГЛО

разработало инструкции, основанные на принципах экологии. В соответствии с идеями Г.Ф. Морозова в них предписывалось изучать типы лесонасаждений, типы почв, климатические условия, эстетический вид леса для разработки эффективных приемов и методов лесоводства, что позволило бы получать более здоровые леса, обеспечивающие благоприятный гидрологический режим. Красота леса признавалась существенным фактором оценки его здоровья.

Важным моментом в истории лесоохраны стало принятие 23 апреля 1943 г., вскоре после победы в Сталинградской битве, Указа Совнаркома № 430, действие которого закончилось лишь 31 декабря 2006 г. Принятый в столь сложное время закон свидетельствовал о преданности природоохранному делу, и пусть, как замечает автор, в основе его лежали соображения о сохранении полноводности рек – аргументы, весьма отличающиеся от тех, которыми оперировал энвайронментализм в других странах, – «русский лес» от этого только выиграл (с. 131). Леса Советского Союза были поделены на три категории, из которых первые две были защищены от промышленной эксплуатации. В первую вошли леса в государственных заповедниках, почвозащитные, полезащитные и курортные леса, зеленые зоны вокруг промышленных предприятий и городов, а также ленточные боры Сибири и степные леса. В них разрешались только санитарные рубки и рубка перезревшей древесины. Ко второй группе отошли леса Средней Азии и волжского левобережья, где разрешалось вырубать лес в объемах, не превышающих его годовой прирост. Обе категории находились в компетенции ГЛО и охватывали огромное пространство, равное примерно четверти территории США.

«Высшей точкой сталинской политики в области природоохраны» С. Брейн называет создание в 1947 г. Министерства лесного хозяйства, куда в качестве структурного подразделения вошло Министерство лесной промышленности (наследник ВСНХ). При этом Совет Министров СССР разъяснял, что создание единого ведомства, отвечающего за лесоохрану, было необходимо, поскольку до этого лесной фонд распределялся между многими министерствами и ведомствами, включая ГУЛАГ, что приводило к неправильной эксплуатации леса, хищнической рубке незрелых участков и вырубке делового леса на топливо. В результате несистематических рубок нарушалась водоохранная и почвозащитная функция леса, а замещающие лесопосадки проводились с большими нарушениями, что вело к их гибели и возникновению опустыненных земель. Во всех этих грехах Совмин обвинял Минлеспром (с. 132).

По замечанию автора, создание Минлесхоза можно было бы счесть простой реорганизацией, подобной тем перетасовкам, которым подвергалось управление лесным хозяйством в СССР в 1960–1970-е годы, если бы не одно обстоятельство. Руководство и сотрудники Минлесхоза работали ранее в ГЛО и продолжили его традиции лесоохраны. Основываясь на идеях Морозова, они придавали особое значение здоровью лесонасаждений и стремились к тому, чтобы перенести промышленную эксплуатацию лесов из центральной части страны в Сибирь и на Дальний Восток. Большую роль сыграл Минлесхоз в реализации «Сталинского плана преобразования природы», который автор называет первой государственной программой по борьбе с антропогенными изменениями климата.

В соответствии с популярной в начале XX в. теорией В.В. Докучаева, утверждавшего, что периодически возникающие в черноземных степях Юга России засухи имеют своей причиной хищническое уничтожение лесов, лесонасаждение считалось главным средством борьбы с этими негативными явлениями. Дело возрождения исконно русского ландшафта, в котором лес являлся главной составляющей, несло и серьезную выгоду сельскому хозяйству, поскольку лес способствовал смягчению климата, защищал от суховеев, улучшал почву и восстанавливал гидрологический режим рек, что вело к повышению урожайности зерновых. По словам автора, такие планы поддерживались правителями как дореволюционной, так и Советской России. В 1930-е годы созданием лесозащитных полос занимался Наркомат земледелия, однако в 1936 г. эти функции были переданы в компетенцию ГЛО. Там велась большая исследовательская работа по изучению геологических, ботанических и гидрологических аспектов лесоразведения. В результате были созданы карты посадки оптимальных видов деревьев для разных почв в соответствии с экологическими условиями конкретных ландшафтов. В 1947–1948 гг. преемник ГЛО – Минлесхоз – принял масштабный и тщательно разработанный план по насаждению 1,5 млн га защитных лесополос на Юге России и Украине по берегам рек и вокруг колхозных полей, что имело своей целью изменение микроклимата, увеличение устойчивости и биоразнообразия местных ландшафтов.

Однако внутренние и внешние обстоятельства – голод 1946–1947 гг. и начавшаяся холодная война – внесли существенные корректизы в планы Минлесхоза. Правительство решило перейти к более активным действиям, почти в четыре раза увеличив первоначальные задания по лесопосадкам, и развернуло широкую идеологическую кампанию, призванную показать превосходство социа-

лизма над капиталистическим Западом в решении экологических проблем. Перед страной была поставлена амбициозная цель – изменить климат юга Европейской России путем создания восьми тысячекилометровых лесных полос, которые преградят дорогу горячим ветрам из Средней Азии. Провозглашалось, что только такая прогрессивная страна, как Советский Союз, способна мобилизовать свой народ на службу науке и решить столь грандиозные задачи.

На этом этапе к плану преобразования природы подключился Т.Д. Лысенко, находившийся тогда на пике своего влияния. Он выдвинул новую антинаучную теорию и предложил особую методику лесопосадок, объявив ее трудосберегающей, что тут же обеспечило ему поддержку правительства. Тысячи добровольцев, студентов, колхозников наряду с сотрудниками лесозащитных станций и МТС приступили к посадке деревьев гнездовым методом. По убеждению Лысенко, тесно посаженные растения одного вида перестают конкурировать между собой и становятся коллективистами – они обладают определенным качеством «саморазреживания», что позволяет поддерживать рост популяции посредством саморегулирования. Лесоводы и экологи Минлесхоза – «технократы», как их называет автор, почти сразу же начали борьбу с новыми идеями Лысенко и его сторонников, практиковавших «прометеевский», по определению С. Брейна, подход к природе. Сама жизнь быстро доказала несостоятельность как самой теории, так и методики Лысенко, поскольку тесно посаженные вперемежку с рожью и пшеницей дубки погибли от недостатка влаги, задущенные сорняками. Посадки выжили лишь там, где за ними был должный уход, который обеспечивался в соответствии с инструкциями Минлесхоза.

В 1952 г. борьба «экологов-технократов» с «преобразователями природы» увенчалась успехом, но, как пишет автор, слишком поздно. Через две недели после смерти Сталина Минлесхоз, за шесть лет своего существования столь много сделавший для охраны лесов, был ликвидирован, а все его функции переданы Министерству сельского хозяйства. Соответственно, был свернут и «план преобразования природы», выполненный приблизительно на 20%, что принесло, тем не менее, хорошие результаты. С тех пор лесоохрана вступила в фазу глубокого упадка. Истинные причины столь быстрого сворачивания огромной сферы государственной деятельности, когда в течение года лишились работы множество лесоводов и лесотехников, а финансирование было урезано на 80%, остались неизвестны даже специалистам, заключает автор.

*О.В. Большакова*

**Браун К.**

**ПЛУТОПИЯ: НУКЛЕАРНЫЕ СЕМЬИ, АТОМНЫЕ ГОРОДА  
И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЛУТОНИЕВЫЕ КАТАСТРОФЫ В США  
И СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ**  
**(Реферат)**

Ref. ad op.: Brown K. Plutopia. Nuclear families, atomic cities and the great Soviet and American plutonium disasters. – N.Y.: Oxford univ. press, 2013. – X, 406 p.

Книга К. Браун посвящена исследованию истории развития ядерных исследований и технологий в СССР и США. В центре внимания исследовательницы находятся два комплекса по производству плутония (важнейшего сырья для создания ядерного оружия) – Ричланд в штате Вашингтон на Северо-Западе США и советский Озёрск на Южном Урале. Эти два ядерных комплекса находились по разные стороны «железного занавеса» и формально противостояли друг другу, как враги. Но при этом, как показывает К. Браун, они были созданы по одной модели и представляли собой «два полюса одной оси».

Одна из целей исследовательницы состоит в том, чтобы показать, что «нет смысла изучать историю ядерной катастрофы в двух странах отдельно друг от друга» (с. 4). К. Браун имеет в виду не только тот факт, что советские ученые использовали информацию об американских разработках, добытую советскими разведслужбами, и не только то, что проведенный в Казахстане пробный взрыв советской атомной бомбы стал ключевым фактором в превращении плутониевого производства из временного военного проекта в приоритетную отрасль национальной экономики США (об этих событиях подробно рассказывается во втором разделе книги «Советский пролетарский атом и американский ответ»). Приводи-

мые К. Браун факты показывают со всей убедительностью, что в судьбах двух плутониевых комплексов, несмотря на все политические, идеологические, национальные и культурные различия двух породивших их обществ, прослеживается множество общих черт. Оба предприятия начинались как военные и / или тюремные поселения; вокруг обоих впоследствии складываются города закрытого типа, уклад жизни которых существенно отличался от всего того, что можно было обнаружить за их стенами; и в США, и в СССР руководство предприятий с легкостью приносило в жертву безопасность собственных работников, а тем более посторонних людей, ради наращивания производственных мощностей и впечатляющих данных в отчетах. И в Ричланде, и в Озёрске директора и медики лгали, скрывая тот урон, который наносит производство плутония здоровью людей и окружающей среде. Печальное сходство состоит еще и в том, что количество радиоактивных изотопов, выброшенное в окружающую среду каждым из этих предприятий, вдвое превышает то, которое принесла с собой чернобыльская катастрофа, и последствия этого, как указывает К. Браун, сказываются до сих пор.

Многогранность и многоаспектность исследовательской методологии К. Браун позволяет ей вскрыть глубинные причины таких – удивительных, на первый взгляд – исторических параллелей. Книга представляет собой редкий пример работы, к которой с полным правом можно применить модный (и не всегда к месту употребляемый) эпитет «междисциплинарная». По ней можно проследить воссозданную на основании массы архивных источников историю гонки вооружений, создания ядерного производства и порожденной им экологической катастрофы. Одновременно перед нами проходят судьбы множества разных людей: обитателей закрытых городов и тех, кто (часто не ведая о том) жили в зараженных соседних районах, пили зараженную воду и дышали воздухом, несущим страшные болезни и медленную непонятную смерть. Часть историй основана на документах, но со многими героями книги К. Браун беседовала лично. Таким образом, ее работа представляет собой, помимо прочего, прекрасный пример полевого исследования в области социальной антропологии. В некоторых эпизодах звучит и собственный голос исследовательницы, не отказывающей себе в праве – в отличие от подавляющего большинства авторов «объективных» «научных» работ – поделиться с читателем личными впечатлениями. Например, вспомнить о том, как она отказалась от угощения и чая, предложенных ей в деревне Татарская Кароболка,

жители которой должны были быть эвакуированы вместе с обитателями других окрестных деревень после аварии на плутониевом заводе «Маяк», но почему-то *по сей день* живут и выращивают урожай на зараженной земле, делая свой маленький бизнес на любителях «туризма катастроф»; ее умирающая от рака собеседница посмотрела с пониманием, попросила денег и осведомилась, нельзя ли достать в Америке необходимое ей обезболивающее. Или о том, как она стояла на берегу речки Теча, такой умиротворяющей и манящей, прозрачные воды которой несут смертоносные дозы радиации... Впрочем, благодаря строгому отбору фактов и критическому отношению к материалу, а также прекрасному сдержанному стилю монография К. Браун нигде не опускается на уровень публицистики. Книгу, помимо гуманистической направленности, отличают глубина анализа и оригинальность авторской концепции.

Уже само название заключает в себе некую загадку и парадокс. «Плутопия» – слово, которое в данном контексте легко прочитывается как составное из «плутоний» и «утопия», в действительности является еще и названием диснеевского мультильма о приключениях собачки Плуто, вышедшего в 1951 г., т.е. примерно в те времена, о которых повествует К. Браун. Словосочетание «нуклеарные семьи» (англ. nuclear families), содержащее очевидные (особенно для англоязычного читателя) отсылки к ядерному оружию (англ. nuclear weapons), одновременно представляет собой принятый в исторической науке термин для обозначения группы ближайших родичей (мать-отец-дети), в отличие от «большой семьи», включающей всех кровных родственников и свойственников. Слово «atomic», которое здесь переведено как «атомный», в английском языке означает, также «маленький», а в сленге используется как синоним слов «потрясающий», «сногсшибательный».

Понятие, обозначенное вынесенным в заглавие книги термином «Плутопия», является в большой степени ключевым для авторской концепции истории плутониевых комплексов в США и СССР.

Рассказывая о начале производства плутония, исследовательница показывает, что и в США, и в СССР логика действий военного и гражданского руководства, отвечавшего за запуск и обслуживание производственных комплексов, была сходной. США приступили к созданию плутониевого производства раньше, в 1942 г. Руководил работами генерал Лесли Гровс, а подрядчиком выступала корпорация «Дюпон». Первоначально при строительстве заводских корпусов использовалась самая дешевая рабочая сила – мигранты, заключенные и солдаты. Гровс планировал, что когда завод «Хен-

форд» вступит в действие, на нем будут работать военизированные подразделения, живущие в армейских лагерях. Однако в рабочих поселениях – независимо от того, шла ли речь о заключенных, мигрантах или солдатах (которые жили практически в одинаковых условиях), процветали пьянство, преступность и насилие; из-за постоянной нехватки рабочей силы строительство затягивалось, сроки сдачи приходилось переносить. В итоге корпоративные боссы «Дюпон» предложили иную стратегию. К. Браун рассказывает о том, что в 1944 г., в разгар войны, между руководством «Дюпон» и Гровсом развернулась ожесточенная дискуссия по поводу того, сколько ванных комнат должно быть в типовом доме нового города для будущих работников плутониевого производства. Как ни странно, подчеркивает исследовательница, решение вопроса о ванных комнатах действительно было концептуальным. Согласно новой концепции, выработанной руководством корпорации, в домах с ванными комнатами должны были жить квалифицированные белые рабочие, прошедшие тщательную проверку и отбор, со своими женами и детьми. Эти люди, работавшие на государственном предприятии, должны были получать зарплату, сравнимую с зарплатами сотрудников корпораций. Следуя далее по этому пути, руководство фирмы «Дженерал Электрик», сменившей «Дюпон» в качестве корпоративного босса «Хенфорда», в 1949 г. потратило более 3 млн долл. на постройку школы, в полтора раза превысив и без того немалый бюджет. В начале 1950-х годов дирекция «Хенфорда» направляла больше средств на развитие городской инфраструктуры Ричланда, обустройство парков и скверов, чем на ремонт и усовершенствование очистительных сооружений.

Примерно по тому же пути шло развитие и в СССР. Работы по созданию плутониевого производства на Южном Урале начались в 1945 г., после Хиросимы. Изначально строительство велось силами ГУЛАГа, руководил проектом лично Берия. Подчеркивая общие моменты в истории Ричланда и Озёрска, К. Браун, тем не менее, постоянно указывает, что в отличие от США Советский Союз был «бедной страной». Беды и тяготы, которые испытали американские фермеры, выселенные со своих земель для обеспечения необходимой «буферной зоны» вокруг строящегося секретного объекта, или мексиканские наемные рабочие, арестанты и солдаты в американских трудовых лагерях, занятые на постройке «Хенфорда» и занимавшиеся впоследствии расчисткой радиоактивных отходов, безусловно, велики. Но они несравнимы с теми нечеловеческими условиями, в которых находились узники ГУЛАГа –

репатриированные представители национальных меньшинств, переселенцы из аннексированных Советским Союзом областей Белоруссии, Латвии, Эстонии и Западной Украины, солдаты Советской армии, побывавшие в плену, которые «строили атомное предприятие с помощью орудий и методов времен фараонов» (с. 99). Тема бедности, превращающей тяжелые, но все же доступные пониманию трагедии и преступления, сопровождавшие реализацию атомного проекта в США, в нечто лежащее за гранью возможного, возникнет в книге еще не раз.

Советские руководители при строительстве плутониевого комплекса «Маяк» столкнулись с теми же проблемами, что и их американские «коллеги», но в еще большем объеме. И заключенные, и солдаты, в которых первоначально видели некую альтернативу рабочей силе ГУЛАГа, были беспокойной и неуправляемой массой – слишком опасной для того, чтобы использовать ее на секретном производстве, и недостаточно эффективной в условиях цейтнота.

В 1947 г. Берия, копируя, как указывает К. Браун, американскую модель, принимает решение о создании специального города для рабочих, которые будут обслуживать плутониевое производство, – города с особым режимом секретности, отделенного двойным заграждением от поселений «ненадежных» строительных рабочих. Молодые жители будущего Озёрска тщательно отбирались. Даже на первом этапе существования города они имели определенные привилегии в виде выдававшихся им водки и шоколада, а также возможности привезти с собой жен и детей, но в целом условия, в которых они жили, мало чем отличались от тюремных. Трансформация, как показывает исследовательница, происходит постепенно и медленнее, чем в США. В 1948 г. И. Курчатов пообещал жителям Озёрска, «плутониевым людям», сыгравшим важнейшую роль в создании советской атомной бомбы, что в их городе появятся прекрасные магазины и театр. Театр действительно был построен спустя год, рабочие получали большие зарплаты и были лучше обеспечены жильем, чем жители других советских городов. Но в течение следующих десяти лет Озёрск оставался «водочным сообществом»: уже не заключенные и солдаты, а сами квалифицированные рабочие и их дети пили, дрались и воровали. Окончательное изменение облика города происходит в конце 1950-х годов. После послаблений в режиме секретности, связанных с хрущёвской «оттепелью», обитатели Озёрска получили возможность покинуть город, и начался массовый отъезд. Для того чтобы остановить отток

квалифицированной рабочей силы, партийное руководство города потребовало новых вложений из государственного бюджета, которые позволили бы превратить Озёрск в «образцовый социалистический город». Эти щедрые дотации не были разовыми, они сохранялись из года в год.

Как пишет К. Браун, «ядерные комплексы не только производили боеголовки и ракеты, они породили счастливые детские воспоминания, доступное жилье, прекрасные школы в образцовых городах, ставших раем для тех нуклеарных семей, которые в них жили» (с. 3).

Могущественные боссы, строившие первые в мире плутониевые заводы в США и СССР, создали не только химическое производство и реакторы; для того чтобы привлечь столь необходимую высококвалифицированную рабочую силу, им нужно было предложить людям нечто такое, что заставило бы пренебречь всеми возможными опасными последствиями ядерного производства (и в плане физического здоровья, и в плане морали). Такой «приманкой», пишет К. Браун, стала «Плутопия» – особый, новый тип городского сообщества, ориентированного на карьерное продвижение, где рабочие – по доходам и уровню жизни – находились на уровне среднего класса. Правительства США и СССР не жалели денег для того, чтобы обеспечить Плутопию всем необходимым – элитные школы заботили их больше, чем горы радиоактивных отходов, а процветание закрытых городов оказывалось существенней, чем простая возможность выживания «обычных» граждан за их пределами. По мере того как обещания изобилия, возможностей карьерного роста и свободы потребления воплощались в жизнь, обитатели Плутопии, вначале относившиеся настороженно к словам и действиям начальства, все больше начинали им верить, убеждая себя и других, что производство, на котором они заняты, совершенно безопасно и работают они на правое дело.

К. Браун акцентирует внимание на том, что оба города представляли собой своего рода «идеологические антиподы» тем обществам, в которых они возникли. Американцы называли Ричланд английским словом «village», которое для них таило воспоминания о мифической колыбели американской демократии; при этом горожане и сам город существовали в рамках государственного регулирования, исключительно за счет федерального бюджета, под жестким контролем юристов и сотрудников службы безопасности курирующей корпорации. В городе не было частной собственности, органов самоуправления и свободной прессы (единственная городская

газета проходила строгую цензуру, обусловленную, как объяснялось, требованиями секретности). Неслучайно журналисты и социологи, посещавшие Ричланд в 1950-х годах, называли его «городом-мутантом» и очагом «советского тоталитаризма» или «фашизма».

Озёрск именовался «образцовым социалистическим городом», что намекало на мифическое прекрасное коммунистическое будущее, однако мировоззрение его жителей имело мало общего с коммунистическими идеалами, воплощением которых мог быть, к примеру, физик-ядерщик Дмитрий Гусев, герой-альtruист из фильма «Девять дней одного года». Бывшие обитатели Озёрска в интервью с К. Браун характеризуют жизнь в «образцовом социалистическом городе» практически одними и теми же словами: «У нас было всё». По сути, пишет исследовательница, Озёрск представлял собой «советскую республику потребления», со всеми характерными чертами общества этого типа.

И жизнь в Ричланде, и жизнь в Озёрске, отмечает К. Браун, была сопряжена с рядом серьезных ограничений. Обитатели Ричланда жили в государственных домах и не могли свободно заниматься бизнесом. Все население Озёрска существовало за непрступной стеной, в условиях строгого паспортного режима и секретности. При этом жители Ричланда во время голосования в 1950 г. отвергли идею самоуправления, а в Озёрске на референдуме в конце 1990-х 95% населения высказались за сохранение ограды и пропускной системы.

«Люди Плутопии» добровольно отказались от своих гражданских и элементарных биологических прав на полноценную жизнь ради материального преуспевания. Они намеренно не обращали внимания ни на тревожные медицинские симптомы, ни на аварии, ни на горы радиоактивных отходов, окружавшие их «земной рай», – так же как один из российских собеседников исследовательницы, родившийся и проведший детство в Озёрске в 1950-х, не замечал колонны заключенных, приходивших каждый день в город на строительные работы.

В Ричланде и Озёрске, замечает К. Браун, существовала сходная, но отличавшаяся от обычной городской планировка. В «атомных городах» не было привычного деления на богатый, привилегированный «центр», где обитают представители среднего класса, и «рабочие окраины» или предместья. Их территории делились на зоны исходя из степени засекреченности, а также удаленности от опасных очагов заражения; люди получали жилье в соответствии с внутренней заводской табелью о рангах, которая определяла не

только их доходы, но и состояние их здоровья. Вокруг Ричланда и Озёрска располагались своего рода «хозяйственные службы» – поселки-времянки и военные городки, поставлявшие Плутопии неквалифицированных рабочих. В них жили солдаты, заключенные, сельскохозяйственные работники, мигранты, представители национальных меньшинств, которые трудились на Ричланд и Озёрск, но не числились среди его населения. Они не имели льгот и не проходили постоянного медицинского контроля. Ни в США, ни тем более в СССР никто не обследовал мигрантов, заключенных и солдат, которые возводили новые заводские корпуса на зараженной земле или разгребали завалы радиоактивного мусора после очередной аварии. Они работали временно, а потом уезжали, увозя с собой поглощенные радиоактивные изотопы и зачатки болезней, причины которых уже никто не сможет распознать. Поселения, не связанные с производством plutония, вовсе не попадали в сферу внимания заводских руководителей и медиков.

Радиобиология и радиационная медицина в США и СССР развивались параллельно с атомным производством; неслучайно именно специалистов из Озёрска направили в 1986 г. в чернобыльскую зону для выработки мер по ликвидации последствий аварии. О том, что радиационное излучение плохо оказывается на здоровье человека, стало известно уже в 1910–1920-е годы, а в 1940 г. учёные уже прекрасно знали, что превышение допустимой дозы радиации может вызывать рак, бесплодие, генетические мутации, преждевременное старение и смерть. В 1942 г. Гровс учредил Медицинское подразделение в рамках Манхэттенского проекта (кодовое название американского проекта по производству ядерного оружия. – *Реф.*), главной задачей которого было следить за состоянием здоровья работников, чтобы последствия облучения не вызвали «физиологических последствий, которые могут привести к нарушению процесса производства и требований безопасности». Другими словами, задачей 72 военных врачей, «опекавших» несколько тысяч работников, являлось обеспечение процесса производства, а не изучение глобальной проблемы воздействия радиоактивных изотопов на организм человека и животных. Таково было «действие» plutониевой биологии и медицины. После войны учёные из Комиссии по атомной энергетике США всячески педалировали идею естественной радиоактивности, например, солнечных лучей или некоторых минералов, деликатно умалчивая о том, что долгоживущие изотопы, создаваемые в гигантских количествах на plutониевых предприятиях, никогда не существовали в природе.

Работники «Хенфорда» и «Маяка» ежегодно производили тонны плутония. Благодаря строжайшей секретности и делению на «ядерную» и «неядерную» зоны руководство предприятий имело фактически полный карт-бланш на то, чтобы наращивать бюджет, присваивать средства и скрывать аварии, а самое главное – выдавать ложные сведения о загрязнении окружающей среды. Исследователи вскоре обнаружили, что радиоактивные изотопы, попадая в организм человека из воздуха и с пищей, имеют свойство постепенно накапливаться в определенных органах, вызывая болезни. Но у американских корпоративных медиков в 1950-х годах не было времени проводить долгосрочные исследования, поскольку их боссы в спешном порядке требовали от них результатов и экспертных заключений. Хотя поначалу ученые-медики высказывали беспокойство по поводу того, что радиоактивные вещества из воды, земли и воздуха проникают в ткани животных и растений, а затем – с пищей – в организм человека, лабораторные опыты показали, что болезнь развивается медленно, долгие годы. За это время – как утверждали ученые и инженеры – возможно, будет найден способ более надежной, и главное, дешевой утилизации опасных отходов. Заводское начальство в свою очередь обращало внимание на вспышки непонятных заболеваний среди населения окрестных районов, однако эта расплывчатая картина так и не обрела определенности.

К. Браун рассказывает о том, как в США руководство плутониевого комплекса и состоявшие у него на службе ученые с помощью нехитрых манипуляций скрывали набиравшую размах экологическую катастрофу. Два обстоятельства, обнаружившиеся еще в первые годы исследований, немало этому способствовали. Во-первых, оказалось, что на отравление радиоактивными изотопами каждый организм реагирует по-своему и поставить диагноз «лучевая болезнь» не всегда возможно. Во-вторых, выброшенные в воздух изотопы имеют свойство собираться в облако и оседать, в зависимости от атмосферных условий, в произвольных местах; далеко не всегда концентрация вредных веществ повышается по мере приближения к месту выброса.

Советские инженеры на Урале по примеру американцевсливали самые концентрированные радиоактивные жидкости в специальные подземные танкеры, а менее опасные отводили в соседнюю реку – Течу. Разница, однако, состояла в том, что Колумбия-Ривер, протекавшая в районе «Хенфорда», была достаточно узкой и бурной, и ее быстрое течение уносило зараженные воды в океан. Течка, полноводная уральская река, была спокойной и широкой, со мно-

жеством рукавов; по ее берегам располагалось множество заводей и болот, а также деревень, жители которых использовали ее воду для питья и орошения. Твердые радиоактивные отходы закапывали в землю, а насыщенные радиоактивными изотопами газы уходили в небо.

В какой-то момент подземные танкеры наполнились, и перед руководством «Маяка» всталась проблема. Для того чтобы подготовить новые резервуары, следовало остановить производство. Но стране требовался плутоний, и это значило гораздо больше, чем жизни местных полуграмотных колхозников. В 1950 г. директор «Маяка» приказал сливать все радиоактивные воды в реку. В 1951 г. 20% речной воды составляли радиоактивные отходы. Руководству предприятия казалось более перспективным потратить средства на развитие сферы потребления, улучшение жилищных условий и увеличение зарплат в Плутопии.

Перед лицом надвигающейся экологической катастрофы, замечает исследовательница, деление на Плутопию и «внешний мир» и в США, и в СССР становилось все более значимым. Степень риска зависела от ранга и доходов, деление проходило по границе первой и второй зон секретности. В этом плане ситуация в Ричланде и в Озёрске была одинаковой. Но важное отличие состоит в том, что люди в окрестностях Ричланда имели больший достаток, и «это обстоятельство сыграло критически важную роль, когда встал вопрос: жизнь или смерть от радиоактивного отравления; жертва, принесенная американскими фермерами и мигрантами на алтарь секретных ядерных программ, была не столь всеохватной, как жертва людей из окрестностей Озёрска» (с. 8). К. Браун рассказывает о том, что в 1951 г. группа медиков и радиобиологов из Озёрска выборочно исследовала радиационный фон воды, растений, животных и людей в деревнях, располагавшихся по берегам Течи. Исследования показали, что жители трех деревень могут получить максимально допустимую пожизненную дозу радиации за неделю. Озёрские ученые, отнюдь не склонные к поспешным решениям и экстремизму, высказались за немедленную эвакуацию 16 деревень. Пока документы ходили «наверх и обратно», это количество сократилось до 10, постройка поселков на новом месте силами солдат и заключенных заняла два года... Собеседница К. Браун, бывшая жительница деревни Мелетино, вспоминает, как к ним приехали военные. Они заставили людей погрузиться в машины, собрали и сожгли все их вещи, а домашний скот расстреляли и закопали. На новом месте эвакуированных ждали рассыпающиеся, наспех

построенные бараки. По прибытии у людей отобрали всю их одежду, и выдали новую – всем одинаковую. Женщина из Мелетино теперь уже знает, что такое радиация, и даже утверждает, что именно из-за ее вредного воздействия она так и не смогла выучить математику, чтобы сдать экзамен в институт. Но вспоминая прошлое, говорит о том, что она сама и ее односельчане воспринимали происходящее как депортацию, о которой они знали от соседей – поволжских немцев, татар, башкир. «Мы знали, что это бывает, только мы не понимали, в чем мы виноваты».

Другая собеседница К. Браун вспоминает, как после взрыва на «Маяке» в 1957 г. у них в деревне выпал черный снег. Спустя несколько дней приехали военные и заставили местных жителей собрать и уничтожить весь урожай овощей. На уборке свеклы работали школьники: как пишет К. Браун, это, вероятно, единственный в истории случай, что ликвидаторами атомной аварии выступали дети.

В заключительной части книги («Сорвать плутониевый занавес») К. Браун рассказывает о попытках «внешних» по отношению к плутониевым корпорациям людей – в США, и в России – противодействовать лжи и открыть истинные масштабы разрушений, причиняемых атомным производством. Чернобыльская катастрофа привлекла внимание всего мира к опасностям «мирного атома». Но энтузиасты, о которых пишет исследовательница, в обеих странах оставались одинокими и сталкивались с ожесточенным противодействием.

К. Браун рассказывает об экспедиции, организованной в начале 1990-х годов четырьмя сотрудниками Института биофизики, которые поехали за свой счет на Южный Урал, чтобы составить карту радиационного заражения окрестностей Течи. В Челябинске было организовано неформальное объединение «За ядерную безопасность». Но после окончания периода демократии в 1993 г. все такого рода инициативы были свернуты. Между тем в течение последнего десятилетия XX в. на «Маяке» произошло несколько десятков выбросов и аварий. Поломка в системе энергоснабжения 9 сентября 2000 г. едва не закончилась глобальной катастрофой: операторы успели остановить реактор за две минуты до взрыва, который по своим последствиям затмил бы Чернобыль. Последний реактор «Хенфорда» был остановлен в 1987 г., и в его корпуса теперь водят туристов. В долине Колумбия-Ривер развивается виноделие, а необычно высокий процент раковых заболеваний среди местных индейцев руководство новых предприятий объясняет ал-

коголизмом и низким уровнем жизни. Тот факт, что индейцы пытаются преимущественно выловленной в реке рыбой, ученые предпочитают не акцентировать. Судьбы Ричланда и Озёрска, пишет в заключение К. Браун, заслуживают внимания не только с исторической точки зрения. Катастрофа на Фукусиме показала, что и в Японии существует своя Плутопия, где под прикрытием секретности и лживых уверений в безопасности процветает безответственность и таится смертельная угроза.

*З.Ю. Метлицкая*

**М.М. Минц**

**СОВЕТСКАЯ КОСМОНАВТИКА В СОВРЕМЕННОЙ  
ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ**  
(Реферативный обзор)

История советской космической программы относится к числу востребованных тем в современной зарубежной русистике. За последние годы в этой области произошли заметные изменения, связанные не только с расширением источниковой базы в результате «архивной революции» и общего снижения уровня секретности в постсоветской России, но и с применением новых методологических подходов. Краткий обзор последних тенденций в российской и западной историографии советской космонавтики дает, в частности, Ю. Рихерс (Базельский университет) в статье «Литература по советским исследованиям космоса» (17). Она выделяет три основных направления исследований: история науки и технологий, политическая история (космонавтика как составная часть советско-американского противоборства) и изучение космонавтики в рамках социальной и культурной истории СССР. Первые два направления представлены уже довольно большим числом публикаций, однако до сих пор остаются почти не изученными такие вопросы, как советские и американские исследования в области ракетостроения в период до 1957 г., советско-американское сотрудничество в космической сфере и некоторые другие. Последнее – социокультурное – направление зародилось относительно недавно, эту проблематику во многом еще только предстоит исследовать.

Соотношение между историей науки и техники и ее социокультурным контекстом показано в статье А. Кожевникова (университет Британской Колумбии, Ванкувер, Канада) «Культурные пространства советского космоса» (13). Автор анализирует ту среду, в которой зарождались идеи покорения космоса, и перемены, про-

изошедшие в СССР и в западных странах после запуска первого спутника в 1957 г. Он отмечает любопытный факт, часто ускользающий от внимания ученых: энтузиазм К. Э. Циолковского и его последователей, их мечты о выходе за пределы земной атмосферы и колонизации других планет были обусловлены не только верой в прогресс, но и тяжелым опытом бедности, разрухи, политических и военных катализмов, выпавших на долю России в первой трети XX в.; освоение внеземного пространства виделось своеобразной страховкой от новых катастроф и даже необходимым условием выживания человечества в будущем. Исследования в области ракетной техники и космических полетов, таким образом, представляли собой своеобразную форму эскапизма.

Для людей, живших в 1960-е годы, пишет Кожевников, прорыв в космос стал символом торжества разума и науки, но параллельно произошла довольно быстрая политизация космонавтики, поскольку советская сторона стремилась представить свои успехи в данной области как наглядное подтверждение преимуществ социализма. США в этой ситуации попытались доказать обратное своими собственными техническими достижениями, что породило феномен космической гонки. Подлинное зарождение советской космонавтики происходило гораздо прозаичнее: в ходе работ над межконтинентальной баллистической ракетой Р-7 стало очевидным, что ее можно использовать (в модифицированном виде) и для выводения на орбиту спутника; когда Королёв обратился за соответствующим разрешением к Хрущёву, тот дал свое согласие, оценив символический потенциал подобной акции, хотя сама идея в то время представлялась ему почти ребячеством. Запуск первого спутника, таким образом, стал побочным эффектом гонки ракетно-ядерных вооружений, однако разгоревшееся советско-американское противоборство за лидерство в космосе заметно ускорило дальнейшее развитие космонавтики.

Практически все публикации, проанализированные в данном обзоре, написаны в рамках социальной и культурной истории. Все использованные статьи были опубликованы в двух сборниках: «Исследования космоса и советская культура» (10) под редакцией Дж.Т. Эндрюса (университет штата Айова) и А.А. Сиддики (Фордхемский университет, США); «Советская космическая культура: Космический энтузиазм в социалистических обществах» (30) под редакцией Е. Маурер (университет Фрибура, Швейцария, и университет Мюнстера), Ю. Рихерс, М. Рютерс (Гамбургский университет) и К. Шайде (университет Констанца).

Среди проблем, анализируемых авторами сборника «Исследования космоса и советская культура», – отношения между государством, наукой и культурой в период «оттепели»; массовый «космический энтузиазм» в Советском Союзе, начавшийся по сути еще до запуска первого спутника, во многом благодаря популяризаторским усилиям Циолковского; влияние успехов СССР в освоении космоса на самосознание советских граждан, на формирование и эволюцию советской идентичности. Сборник состоит из десяти статей, объединенных в три части. В первой части (две статьи) рассматривается в основном тот историко-культурный контекст, в котором начиналась реализация советской космической программы. Вторая часть (четыре статьи) посвящена популярным мифам о космонавтах и космонавтике и их соотношению с фактической политикой советского руководства. В третьей части (четыре статьи) показано, как перипетии космической гонки отражались в культуре, повседневной жизни и массовом сознании граждан СССР.

Сборник «Советская космическая культура» посвящен влиянию начала космической эры, первых успехов СССР в покорении космоса и соперничества с Соединенными Штатами в космических исследованиях на советскую массовую культуру и массовое сознание 1950–1960-х годов. Издание подготовлено на основе материалов конференции «Космический энтузиазм: Культурное влияние советских исследований космоса начиная с 1950-х годов», состоявшейся в январе 2009 г. в Базеле. Авторы рассматривают первый период истории космонавтики, когда первенство в этой области принадлежало Советскому Союзу. В своих работах они попытались исследовать советскую космическую программу прежде всего как культурный феномен, значение которого для советского общества определялось отнюдь не только реалиями холодной войны. Покорение космоса стало в определенном смысле новой утопией, символом не только научных, технических и экономических успехов СССР, но и хрущевской «оттепели» и связанных с нею перемен – начиная с ослабления идеологического прессинга и заканчивая улучшением бытовых условий.

Статьи сборника, за исключением введения и уже цитированного историографического обзора Ю. Рихерса, сгруппированы в четыре части. Часть первая «Духовность, трансцендентность и советский утопизм» посвящена философским истокам советской «космической лихорадки». Идея покорения космоса была необычайно популярна в 1920-е годы, став, по сути, продолжением идей о мировой революции и построении нового общества. Позже, уже

при Хрущёве, успехи в освоении космоса официально преподносились как составная часть продвижения к коммунизму, а также как торжество науки над религией, своеобразная десакрализация неба. На неофициальном уровне выход человечества за пределы земной «колыбели» также располагал к серьезным размышлениям о месте техники и технологий в нашей жизни и о природе трансцендентного. Во второй части сборника рассматриваются социальные и культурные практики, направленные на увековечивание памяти о достижениях СССР в освоении космоса. Попытки советского руководства использовать эти достижения в пропагандистских целях обсуждаются в части третьей «Представляя космос в мировой политике». В четвертой части анализируются образы космоса и космонавтики в отечественной массовой культуре, где данная тематика стала с конца 1950-х годов одной из доминирующих.

Рассмотрим эти и некоторые другие публикации более подробно.

### **Предпосылки и предыстория космонавтики**

Ни для кого не секрет, что первым запускам с Байконура предшествовала работа поколений ученых и инженеров, решавших различные теоретические и практические задачи, связанные с осуществлением полета в космос. Менее известно, однако, то обстоятельство, что работа эта представляла собой не только сугубо научный, но и философский, даже религиозный поиск. Это хорошо показывает, в частности, М. Хагемайстер (Европейский университет Виадрина, Франкфурт-на-Одере) в статье «Завоевание космоса и блаженство атомов» (9), посвященной философским взглядам «праородителя» советской космонавтики К. Э. Циолковского (1857–1935), которые долгое время оставались вне поля зрения исследователей. Он анализирует взаимосвязь между научными разработками Циолковского и его представлениями об освоении космоса как об освобождении человечества, дороге к его дальнейшему совершенствованию и, наконец, к бессмертию.

Ещё подробнее эта проблематика рассматривается в биографии Циолковского «Красный космос», написанной Дж. Т. Эндрюсом (2). Автор попытался решить три основные задачи.

1. Переосмыслить место Циолковского в истории советской науки и техники: в советское время его образ был в значительной степени мифологизирован.

2. Изучить также и другие стороны деятельности Циолковского, его философское творчество, работу в качестве учителя и т.д. В советской литературе анализировались в основном только его научные изыскания.

3. Рассмотреть жизнь и деятельность Циолковского в широком интеллектуальном и культурном контексте его времени, который в предшествующей историографии обычно игнорировался: «Историю российского ракетостроения слишком часто изучали в контексте эпохи холодной войны начиная с Хрущёва, но данная книга начинается с истоков ракетной техники середины 1850-х годов и заканчивается на том времени, с которого обычно отсчитывают историю советской космонавтики» (2, с. 6).

Источниковую базу исследования составили документы ряда российских архивов (ГАРФ, РГАСПИ, Архив Президента РФ, Архив РАН и его петербургский филиал, государственные архивы Московской и Калужской областей, коллекция документов калужского Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского), документальные публикации, а также периодика, в том числе дореволюционная. Автор привлек не только источники, описывающие жизнь и деятельность самого Циолковского, но и материалы, позволяющие проследить, как его образ использовался советской пропагандой, особенно в годы холодной войны.

Книгу открывает краткий обзор истории русского ракетостроения до начала XX в. Автор показывает, что феномен Циолковского возник не на пустом месте, он был подготовлен десятилетиями работы самых разных специалистов, занимавшихся проблемами ракетной техники. Даже то, что Циолковский большую часть своей жизни провел в Калуге, являлось типичным для российских интеллектуалов на рубеже XIX–XX вв.

Непосредственным предшественником Циолковского Эндрюс считает Н.И. Кибальчича, инженера и революционера, казненного в 1881 г. за участие в убийстве императора Александра II. Именно Кибальчич, по-видимому, первым из российских исследователей предложил использовать ракету для пилотируемого полета.

Вклад Циолковского в будущее развитие ракетостроения и космонавтики в Советском Союзе заключался, по мнению автора, не только в сугубо научных разработках, но и в его популяризаторской деятельности. Многие ученые и инженеры, принявшие впоследствии непосредственное участие в реализации советской космической программы, выбрали род занятий и сферу профессиональных интересов под влиянием научно-популярных и научно-

фантастических произведений Циолковского, посвященных космическим полетам. Циолковский и сам видел свою задачу в том, чтобы начать работу, которую смогут продолжить физики и инженеры будущего, подчеркивая, что исполнению должна предшествовать идея, а расчетам – фантазия.

Социокультурные предпосылки космонавтики анализируются и в более поздней статье Эндрюса «Предпосылки хрущёвского спутника» (1). Интерес к космической тематике образованная публика в России проявляла еще с конца XIX в., но по-настоящему широкое распространение идея колонизации космоса приобрела в 1920–1930-е годы. В 60-е все новые и новые успехи в космической области укрепляли веру в огромные возможности советской науки и техники, страны в целом, а значит, и уверенность в завтрашнем дне. Массовый энтузиазм в связи с первыми полетами в космос, характерный для советского общества в этот период, был, таким образом, обусловлен не только официальной пропагандой.

### **От фейерверков XIX века до «лунной гонки»**

«Техническая» сторона истории советской космической программы детально рассматривается в фундаментальной монографии А.А. Сиддики. Работа, представляющая собой расширенную версию более ранней его книги «Вызов “Аполлону”»<sup>1</sup>, издана в двух томах со сквозной нумерацией глав и страниц: «Спутник и советский космический вызов» (24) и «Советская космическая гонка с “Аполлоном”» (26). Книги Сиддики, основанные на документах, рассекреченных в постсоветский период, и воспоминаниях ветеранов космической отрасли, стали первым исследованием в западной науке, автору которого удалось проанализировать первоисточники, преодолев завесу мифов и домыслов, до недавнего времени окружавших советскую космонавтику. Хронологически работа охватывает период от окончания Второй мировой войны, когда в распоряжении Советского Союза оказались немецкие ракетные технологии, до провала советской лунной программы в середине 1970-х годов. Сиддики попытался прежде всего изучить институциональную базу советской космонавтики, структуру отдельных организаций, предприятий и ведомств, участвовавших в подготовке и осуществлении космических экспедиций, отношения между ними; проследить раз-

<sup>1</sup> *Siddiqi A.A. Challenge to Apollo: the Soviet Union and the space race, 1945–1974. – Washington: NASA, 2000. – XVI, 1011 p.: ill.*

вение советской ракетной техники и технологий в рассматривающий период и, наконец, прояснить причины советских успехов на первом этапе космической гонки (запуск первого спутника, полет Гагарина) и последовавших за ними неудач. Ввиду большого объема изучаемого материала автор сосредоточился в основном на истории советской пилотируемой космонавтики; кроме того, в первых четырех главах рассматривается предыстория запуска первого спутника, прежде всего работы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты.

Сиддики приходит к выводу, что судьба советской космической программы во многом определялась балансом сил между четырьмя основными группами интересов: учеными и инженерами с их мечтами о покорении космоса, основанными на идеях Циолковского; военным руководством в лице Главного артиллерийского управления (в 1960 г. преобразовано в Главное ракетно-артиллерийское управление), заинтересованного в создании новых систем ракетно-ядерного вооружения; военной промышленностью и, наконец, партийным руководством, продолжавшим глобальное противоборство с Соединенными Штатами. Сотрудничество между этими группировками в период разработки межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 сделало возможными не только успешную реализацию данного проекта, но и запуски первых спутников, а затем и первые пилотируемые экспедиции с использованием ракет-носителей, созданных на основе Р-7. Ситуация, однако, начала меняться уже вскоре после полета Гагарина. Военное руководство, заинтересованное в новых вооружениях больше, чем в освоении космоса, сократило ассигнования на космические исследования, что вынудило инженеров свернуть целый ряд перспективных программ. Одновременно усилилась конкуренция среди самих инженеров. Следствием этих обстоятельств стало распыление сил между несколькими направлениями исследований, а лунная программа была запущена лишь в 1964 г. – на три года позже американской. Таким образом, неудачи Советского Союза на рубеже 1960–1970-х годов в некотором смысле были обусловлены теми же факторами, что и успехи советской космонавтики десятью годами ранее.

В более поздней своей работе «Блеск красной ракеты: Космические полеты и советское воображение, 1857–1957» (25) Сиддики рассматривает в основном истоки и предысторию космонавтики; хронологически книга охватывает период с середины XIX в. (в первой главе описывается зарождение идеи об освоении космоса

во второй половине столетия) до запуска первого спутника в 1957 г. (его созданию посвящена последняя глава). Будучи специалистом не только по истории науки и техники, но и по социальной и культурной истории современной России, автор впервые помещает собственно развитие техники и технологий – от простейших пороховых ракет XIX в. до жидкостных ракет-носителей 1950-х годов – в общий социокультурный контекст изучаемого времени. Это позволяет ему, в частности, проследить, как влияли на технический прогресс факторы, действующие за пределами науки и техники, – прежде всего та утопическая мечта об освоении космоса, которая возникла в среде интеллигенции еще в дореволюционную эпоху и была подхвачена широкими слоями населения СССР в 1920–1930-е годы. Как показано в книге, техническое и философско-художественное творчество («инженерия» и «фантазия», см.: 25, с. 8) все эти годы по существу дополняли друг друга, и если развитие ракетной техники на определенных этапах финансировалось государством в военных целях, то зарождение космонавтики было в большей степени обусловлено тем, что «фантазию» о преодолении земного тяготения разделяли среди прочих те инженеры, которым выпало претворять в жизнь советскую ракетную программу в послевоенный период.

В методологическом отношении работа относится в основном к социальной истории науки. Ее источниковую базу составили архивные документы (ГАРФ, РГАСПИ, РГАЭ, РГВА, Архив РАН, коллекция документов Музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге; автору удалось, хотя и не без труда, ознакомиться также с некоторыми документами Архива Президента РФ), опубликованные документы (используются как сборники документов высших партийных и государственных органов СССР, так и издания, непосредственно посвященные истории советской ракетной техники и космонавтики), публицистика и научно-популярная литература 1920–1930-х годов (важный источник при изучении советского «космического энтузиазма»), воспоминания (позволяют не только исследовать «человеческое измерение» изучаемых событий, но и восполнить некоторые лакуны в документальной базе, что по-прежнему актуально, поскольку многие архивные материалы до сих пор остаются засекреченными). Наиболее тщательно автор изучает роль государства в зарождении космонавтики, взаимодействие между профессиональными учеными и энтузиастами-любителями, «иностранный фактор».

Подводя итоги своего исследования, Сиддики отмечает, что сложившиеся взгляды на историю и предысторию советской космической программы требуют существенной корректировки. Так, вопреки распространенному представлению, космический проект, в отличие, например, от атомного, не был инициативой государства. Советское руководство не проявляло сколько-нибудь заметного интереса к вопросам ракетной техники вплоть до конца Второй мировой войны. В 1920-е годы Циолковский и его последователи работали на общественных началах. Созданная в 1931 г. Московская группа изучения ракетного движения (МосГИРД), в работе которой участвовали С.П. Королёв, М.Н. Тихонравов, Ф.А. Цандер и ряд других энтузиастов-изобретателей, государственное финансирование получила лишь в 1932 г. В 1933 г. был создан Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), сотрудниками которого были сконструированы первые варианты советских жидкостных ракет, но государственная поддержка этого института была весьма ограниченной, многие инженеры-ракетчики попали под каток репрессий в период Большого террора, а в последующие годы работы по созданию жидкостных ракет были фактически свернуты, поскольку более перспективным представлялось конструирование пороховых ракет, которые могли найти практическое применение уже в ближайшем будущем; эти работы увенчались созданием знаменитой «катюши» и других аналогичных систем, применявшихся во время войны. Государственная ракетная программа была запущена лишь с началом ядерной гонки, а проект по созданию спутника привлек внимание Хрущёва только во второй половине 1950-х годов.

Важную роль в зарождении советской космонавтики сыграли неформальные объединения энтузиастов. Академия наук, так же как и советское правительство, не проявляла интереса к космической тематике вплоть до 1950-х годов и не поддерживала отношений с Циолковским при его жизни, поскольку он не имел высшего образования. Таким образом, исследования в области жидкостных ракет и покорения космоса долгое время носили по преимуществу любительский характер – и тем не менее привели к созданию необходимой теоретической базы, от которой в дальнейшем отталкивались инженеры-профессионалы. Неформальные сообщества ученых и инженеров сыграли важную роль в освоении немецких технологий в первые послевоенные годы. Позже, уже в 50-е, инженеры, участвующие в реализации ракетной программы, использовали неформальную сеть энтузиастов для дальнейшей популяризации

идей освоения космоса; это позволило сформировать в советском обществе устойчивый и довольно широкий интерес к данной проблеме и впоследствии обусловило благожелательную реакцию Хрущёва на предложение Королёва о запуске спутника.

Взаимодействие с другими странами – в самых разных формах – также имело немаловажное значение. Циолковский заинтересовался вопросами космических полетов после знакомства с романами Жюля Верна. Первая советская жидкостная баллистическая ракета Р-1 класса «земля–земля», созданная Королёвым, была почти точной копией немецкой V-2, хотя последующие модели представляли собой уже оригинальные советские разработки. Поддержка космических исследований советским правительством начиная со второй половины 1950-х годов в определенной степени была обусловлена соперничеством с Соединёнными Штатами, приступившими к реализации собственного космического проекта. Сыграл свою роль и международный научный диалог; любопытно, что советские публикации, посвященные перспективам освоения космоса, стали, по-видимому, одним из стимулов к развертыванию американской космической программы.

Сиддики подчеркивает, что сложившееся представление о советской науке как полностью контролировавшейся государством нуждается в пересмотре. По крайней мере некоторые ее достижения были подготовлены инициативными исследованиями, проводившимися за пределами официального научного сообщества.

Наконец, анализ работ Циолковского и других исследователей-любителей, занимавшихся конструированием жидкостных ракет и теоретическими вопросами космонавтики, показывает, что собственно научные соображения в их сознании тесно переплетались с мистическими представлениями, соединяясь в трудноразделимое целое. Запуск спутника, таким образом, был результатом не только научных поисков, но и религиозно-философских, нацеленных на построение нового, более совершенного общества как следствие выхода за пределы земной атмосферы.

## **Космонавтика и пропаганда**

Успехи СССР в освоении космоса довольно активно использовались советской пропагандой, причем для достижения самых разных целей. Этую проблематику рассматривают сразу несколько авторов.

Статья Л. Сигелбаума (Мичиганский университет) «Спутник отправляется в Брюссель» (27) посвящена участию СССР во Всемирной выставке 1958 г. в Брюсселе, где реплика первого спутника стала главным экспонатом в советском павильоне. Советское руководство усиленно рекламировало это событие и за рубежом, и внутри страны, причем, как показывает автор, в обоих случаях ставилась задача продемонстрировать не столько действительное положение дел (уровень жизни в СССР или восприятие советской экспозиции западной аудиторией), сколько некую идеальную картинку, «то, как должно быть». Вопрос, была ли эта пропаганда эффективной, остается открытым.

И. Кохонен (Университет Аалто, Хельсинки) в статье «Героическое и обыкновенное» (12) анализирует образы космонавтов на советских фотографиях 1960-х годов. Она приходит к выводу, что содержащийся в этих изображениях идеологический посыл заключался не только в том, чтобы показать людей из будущего, истинных строителей коммунистического рая, но и подчеркнуть, что космонавты – это обычные люди, живущие обычной жизнью, что герои выходят из простых людей. Данный мотив был утрачен уже к концу 1960-х годов, на фоне нарастающего разочарования в коммунистической утопии, в том числе и в космической ее составляющей.

Попыткам советского руководства использовать достижения отечественной космонавтики в антирелигиозной пропаганде посвящены статьи В. Смолкин-Ротрок (Уэслианский университет, Мидлтаун, Коннектикут) «Спор за небеса: Битва науки и религии в советском планетарии» (29) и «Космическое просвещение: Научный атеизм и советское покорение космоса» (28).

В статье М. Рютерс «Дети и космос» (19) описывается популяризация космонавтики среди детей, не только в СССР, но и в других странах социалистического блока (на примере ГДР); автор прослеживает, как рассказы о космических успехах Советского Союза увязывались пропагандой с образами счастливого детства и счастливого будущего. Она приходит к выводу, что одной из целей этой пропаганды было восстановить лояльность молодого поколения по отношению к советскому режиму.

## **Космонавтика и внешняя политика**

Зарубежные поездки советских космонавтов стали по существу частью советской внешней политики, однако эффективность подобной «дипломатии» сильно различалась от страны к стране.

Так, несомненным успехом Москвы был визит Г. С. Титова в ГДР в сентябре 1961 г. – меньше чем через месяц после его полета 6 августа того же года, вторым после Гагарина, и начала строительства Берлинской стены 13 августа. Этому событию посвящена статья Х.Л. Гамберта (Виргинский политехнический институт) «Театры холодной войны: Космонавт Титов у Берлинской стены» (8). Массовый энтузиазм в связи с приездом Титова позволил правительству В. Ульбрихта создать видимость единства как между властью и народом, так и внутри правящей Социалистической единой партии Германии, и тем самым несколько разрядить накопившееся в стране напряжение. Кроме того, что гораздо важнее, восточно-германское руководство использовало фигуру Титова, чтобы выработать новую идентичность для населения республики и найти убедительное обоснование ее нового места в мире: ГДР отныне позиционировала себя не как часть Германии, а прежде всего как часть социалистического содружества, достижения которого в противостоянии с капиталистическим Западом наилучшим образом демонстрировали успехи в освоении космоса, включая полет Титова.

В Югославии дела обстояли иначе. Р. Вучетич (Белградский университет) в статье «Кого в Югославии любили сильнее?» (33) описывает визит экипажа «Аполлона-11» в эту страну в 1969 г. и предшествующие ему визиты советских космонавтов и внимательно сравнивает оказанный им прием в общем международном контексте того времени. Хотя при Хрущёве советско-югославские отношения вступили в период относительной нормализации, Тито продолжал политику балансирования между Востоком и Западом, причем приоритетным по-прежнему оставалось сотрудничество с Вашингтоном, а не с Москвой. Прохладное отношение югославских руководителей к советским успехам в космической гонке, как и к самим советским космонавтам, посещавшим Югославию, в сравнении с тем ажиотажем, которым сопровождался приезд американских астронавтов после их высадки на Луне, вполне соответствовало, таким образом, политическим предпочтениям Белграда.

## **Космонавтика и мифы о космонавтике**

Мифологизация советской космонавтики (как в нашей стране, так и за рубежом) во многом была связана с режимом тотальной секретности, окружавшим ее вплоть до конца 1980-х годов. С высоты наших сегодняшних знаний о периоде «оттепели» это может показаться парадоксом, хотя в действительности столь жесткая

секретность была вполне объяснима, поскольку советская космическая программа, в отличие от американской, на всех этапах была тесно связана с военными разработками и космические ракеты-носители создавались теми же предприятиями, что и боевые межконтинентальные баллистические ракеты, притом что именно на рубеже 1950–1960-х годов противостояние между СССР и США достигло своего пика. В то же время, однако, советское руководство стремилось всячески популяризировать свои космические достижения. Как показывает Сиддики в статье «Космические противоречия: Энтузиазм и секретность в советской космической программе» (22), такая двойственная политика – курс на максимальную открытость в сочетании с режимом строжайшей секретности – создавала неразрешимую проблему; выход из этой ситуации так и не был найден вплоть до начала перестройки. Как результат, советским журналистам, пропагандистам, писателям, авторам научно-популярной литературы приходилось зачастую описывать либо прошлое советской космонавтики (достигнутые успехи, исполнение надежд Циолковского и т.д.), либо ее будущее (новые возможности, которые открываются в результате уже достигнутых успехов), но не ее настоящее (в первых сообщениях о запуске спутника не было даже его изображения). Любопытно, что именно данными обстоятельствами во многом подпитывалась и массовая эйфория вокруг космонавтики в те годы: чем меньше было известно о буднях космонавтов и конструкторов, тем шире казались возможности советской космонавтики, ее потенциал и перспективы.

В статье Славы Геровича (Массачусетский технологический институт) «Человек внутри пропагандистской машины: Публичный образ и профессиональная идентичность советских космонавтов» (6) анализируется соотношение между пропагандистским образом космонавтов и их истинным профессиональным самосознанием, между профессиональной культурой и культурой политической. Хрущёвский миф о космонавтах типологически во многом стал продолжением сталинских мифов о стахановцах, летчиках, покорителях Арктики – вплоть до сохранения привычных ритуалов их массового почитания. Это еще одна иллюстрация того, что десталинизация 1960-х годов имела свои пределы. Было, однако, и отличие: герои сталинской эпохи, по замыслу партийного руководства, должны были пропагандировать свои профессии или отношение к труду. «Чтобы поддерживать свой общественный статус, – отмечает Герович, – Алексей Стаханов должен был ставить новые рекорды, а Валерий Чкалов – продолжать летать» (6, с. 105). Космонавты, на-

против, вынуждены были пропагандировать ценности, с их профессией напрямую не связанные. В их задачи не входило привлечение новых людей в космическую отрасль, у них не было даже возможности упоминать в своих речах сколько-нибудь существенные подробности своих полетов – из соображений секретности. В результате образ космонавта оказывался довольно противоречивым (к примеру, о нештатных ситуациях во время полетов пропаганда старательно умалчивала, зато всячески подчеркивалось высокое качество автоматики, управляющей космическим кораблем; в чем, в таком случае, состояла функция космонавта и особенно его геройства, оставалось неясным), а соответствовать ему было весьма непросто. Это доставляло заметные неудобства и самим космонавтам – от сугубо повседневных проблем до того, что «шесть из первых одиннадцати космонавтов ни разу больше не летали в космос, несмотря на все их усилия оставаться в списке действующих космонавтов» (6, с. 105).

Более подробно эту проблему рассматривает Э. Дженкс (университет штата Калифорния в Лонг-Бич) в книге «Космонавт, который всегда улыбался: Жизнь и легенда Юрия Гагарина» (11). Исследование базируется в основном на опубликованных материалах, поскольку архивные документы, не соответствующие официозному образу Гагарина, до сих пор по большей части недоступны для ученых, особенно иностранцев. Автор подчеркивает, что внимательное прочтение источников, уже введенных в научный оборот, позволяет проанализировать имеющиеся в них внутренние противоречия и тем самым хотя бы отчасти компенсировать сохраняющиеся лакуны. Книга написана на стыке биографии и культурной истории. Дженкс попытался не только восстановить, насколько это возможно, исторически достоверный портрет Гагарина, но и исследовать сложившийся в СССР комплекс мифов о нем как культурное явление, по-своему характеризующее определенные стороны советского общества и массового сознания. Отдельная глава посвящена трудностям, с которыми сталкивался сам Гагарин, вынужденный как-то совмещать свой новый героический образ с повседневными советскими реалиями. В заключительной главе описывается развитие мифа о Гагарине уже в постсоветский период: попытки «развенчать» легенду о первом космонавте в 1990-е годы, эволюция представлений о нем среди работников провинциальных музеев с заменой советской идеологии на космизм, использование его образа официальной «патриотической»

пропагандой при Путине и Медведеве, а также попытки объявить его «православным» и едва ли не святым.

Феномену Гагарина посвящен и вышедший совсем недавно в Германии сборник статей «Гагарин в архивах и воспоминаниях» (4) под редакцией М. Швартца (Свободный университет Берлина), Х. Майера (Эрфуртский университет) и К. Андинга (Институт европейской истории имени Лейбница, Майнц).

Мифологизации подверглись не только образы космонавтов. Так, еще одна статья С. Геровича «Память о космосе и пространства памяти» (5) посвящена фигуре С. П. Королёва, знаменитого главного конструктора первых советских межконтинентальных и космических ракет, чье имя оставалось в секрете вплоть до его смерти в 1966 г. Автор прослеживает различные этапы эволюции его публичного образа, роль самого Королёва в конструировании определенных интерпретаций его биографии, возрождение мифа о нем в постсоветский период. На примере Королёва в статье показано, что диктат государственной пропаганды в формировании коллективной памяти был отнюдь не абсолютным; к примеру, в профессиональных сообществах инженеров-ракетчиков и космонавтов существовали свои специфические легенды о Королёве, отличавшиеся от «канонического» его образа.

Сиддики в уже упоминавшейся работе «Советская космическая гонка с “Аполлоном”» приходит к выводу, что роль Королёва в реализации советской космической программы нуждается в уточнении. Не умаляя его вклада в развитие отечественной космонавтики, автор отмечает, что Королёв был прежде всего организатором, а не ученым или инженером в точном смысле слова (26, с. 858–859).

Ещё один комплекс мифов связан с собаками-космонавтами – предшественницами человека на орбите. Первой из них была Лайка – пассажир второго советского спутника, запущенного 3 ноября 1957 г. Со дня ее полета и до появления первых космонавтов-людей прошло более трех лет, на протяжении которых как Советский Союз, так и США запустили целую серию спутников с животными на борту. Причём если американцы для подобных экспериментов использовали обезьян – наименее близких «родственников» человека, – то советские ученые предпочитали собак, опыты над которыми еще со времен И. П. Павлова довольно часто ставились в нашей стране.

Этот непродолжительный период «звериной» космонавтики описывается, в частности, в статье Э. Нельсон (Виргинский политехнический институт) «Жизнь и времена советских космических собак» (15). Автор применяет социологическую концепцию погра-

ничного объекта (информация, которая по-разному используется в различных сообществах и служит связующим звеном между ними). Вплоть до полета Гагарина собаки-космонавты почитались как герои, а понесенные ими жертвы рассматривались как вклад в развитие науки и подтверждение исторического «союза» между собакой и человеком. В то же время гибель Лайки, к тому же предрешенная заранее, вызвала бурные протесты защитников животных на Западе и таким образом вписалась в перипетии холодной войны и многолетние споры о пределах допустимого в научных экспериментах над животными. Запуски спутников с четвероногими пассажирами производились и после 1961 г., однако свой героический статус собаки довольно быстро утратили и в дальнейшем воспринимались просто как подопытные животные: «История космической гонки в конце концов должна была стать человеческой драмой» (15, с. 154).

### **Космическая тематика в художественном творчестве**

Многочисленные работы посвящены отражению начала космической эры в советской культуре. М. Швартц в статье «Мечта, ставшая правдой» (21) рассматривает публикации по космической тематике в научно-популярных журналах, тиражи которых скачкообразно выросли на рубеже 1950–1960-х годов. По его мнению, столь высокий интерес к научно-популярной литературе и научной фантастике был обусловлен не только официально культивируемым энтузиазмом по поводу успехов СССР в освоении космоса, но и тем, что произведения писателей-фантастов зачастую содержали неочевидный подтекст, включавший в себя такие идеи, как эсказализм, переосмысление положения человека во Вселенной, перенос на другие миры отрицательных черт, присущих привычной советским читателям земной реальности. Философские поиски в художественной литературе, связанные с космической тематикой, описываются также в статье Т. Гроба (Базельский университет) «В пустоту» (7) на материале творчества С. Лема и братьев Стругацких.

Тему продолжает статья А. Рогачевского (университет Глазго) «Исследования космоса в российской и западной популярной культуре» (18), посвященная советским и американским эстрадным песням и фильмам о космических путешествиях начиная с 1960-х годов. Такой подход позволяет не только провести сравнительный анализ исследуемых произведений и выявить специфику советской «космической лихорадки», но и проследить, как первоначальный энтузиазм постепенно сменялся скептицизмом по отношению к

официальным концепциям. Рассматривается в статье и влияние на искусство той чрезмерной секретности, которая окружала космонавтику; это могло приводить к самым неожиданным результатам, вплоть до появления разнообразных конспирологических теорий.

В статье А. Порри (Эстония) «Два образа космического человека в эстонском искусстве» (16) анализируется использование образа космонавта в изобразительном искусстве Эстонии в советские и постсоветские годы. Хотя эстонские специалисты и предприятия принимали участие в реализации советских космических программ, в целом космонавтика для республики оставалась чем-то внешним, почти чужим, что обусловило менее пафосное к ней отношение. В работах на темы космоса эстонские художники могли себе позволить эксперименты с техникой и стилем, которые в СССР обычно не поощрялись. После обретения независимости образ космонавта стал скорее объектом иронии, но этот период, по мнению автора, уже закончился. Вопрос о дальнейших тенденциях в искусстве остается открытым.

### **Освоение космоса и советское общество**

Восприятию космической тематики в советском массовом сознании посвящена статья Сиддики «От космического энтузиазма к ностальгии по будущему» (23). Как показывает автор, культивируемый в СССР в конце 1950-х и в 1960-е годы «космический энтузиазм» основывался не только на утопическом видении будущего, но и на попытках выстроить «удобное прошлое», чтобы можно было вписать успехи в освоении космоса в общий ряд побед большевиков. Поскольку настоящее и ближайшее прошлое, т.е. собственно развитие ракетостроения, как и подготовка и осуществление космических экспедиций, были тесно связаны с военной сферой и покрыты завесой секретности, основу этого «удобного прошлого» составили события довоенных лет – отсюда, к примеру, такое большое внимание к фигуре Циолковского. На рубеже 1960–1970-х годов свертывание «оттепели», начало застоя, а также ряд утрат (гибель Королёва в 1966 г. и Гагарина в 1968-м) и неудач (отставание от американцев после их высадки на Луну в 1969 г.) советской космонавтики привели к угасанию «космической лихорадки», энтузиазм сменился ностальгией по прежним успехам, к которой вскоре добавилась ностальгия по упущенными возможностям («ностальгия по будущему»).

В статье К.С. Льюис (Музей авиации и космонавтики, Вашингтон) «Из кухни на орбиту: Пилотируемая космонавтика и зарождающееся общество потребления при Хрущёве» (14) рассматривается коллекционирование в Советском Союзе значков и почтовых марок, связанных с космической тематикой, в общем контексте не только советской космической программы, но и изменений в политике партийного руководства по отношению к потреблению. В сталинские годы хобби, в том числе и создание частных коллекций, были по существу под запретом. На рубеже 1950–1960-х годов, когда в результате хрущёвской либерализации сформировался своеобразный советский вариант общества потребления, эти запреты были сняты. Тогда же возобновился выпуск коллекционных марок и значков. Успехи СССР в освоении космоса обеспечили их производителей темами и образами для творчества и в то же время стимулировали рост спроса на их продукцию, поскольку в условиях тотальной секретности значки и марки оказывались в некотором смысле не только произведениями искусства, но и одним из источников хоть какой-то информации, относящейся к космонавтике. Особенным многообразием отличались значки, поскольку в издании марок Министерство связи являлось монополистом и не было заинтересовано в активных творческих поисках. Возродилась в послевоенные годы и практика содержания домашних собак. Первые полеты собак в космос воспринимались как аргумент в ее защиту (15).

Р.П. Сильвестер (Университет Де Поля, Чикаго) в статье «“Вот бы узнать, где школа космонавтов”: Советские девочки и космические мечты после полета Терешковой» (31) рассматривает увлечение советских школьниц естественными, точными и техническими науками в 1960-е годы, в том числе под влиянием полета Терешковой и других успехов СССР в освоении космоса. Этой же теме посвящена и ее статья «Советские девочки и успех Терешковой» (32).

Региональные аспекты советской «космической» пропаганды обсуждаются в статье А. Еремеевой (Краснодарский государственный университет) (3) – на примере Краснодарского края середины 1950-х – середины 1980-х годов. В. Садым (Кубанская федерация космонавтики) в статье «Пропаганда исторического и культурного наследия космонавтики» (20) описывает деятельность советских и современных российских общественных организаций (главным образом на Кубани) по популяризации исторического и культурного наследия отечественной космонавтики.

## Заключение

Как следует из сказанного выше, космонавтика перестала быть предметом одной лишь истории науки и техники: к настоящему моменту в западной историографии накопился уже целый пласт литературы, написанной в рамках социальной и культурной истории. В основном эти исследования развиваются в двух направлениях: с одной стороны, активно изучаются социокультурные аспекты собственно советской космической программы (ее культурные предпосылки, феномен Циолковского, движение его последователей, мифы о космонавтах и конструкторах и т. д.), с другой – не менее активно осваиваются разнообразные смежные темы (космонавтика и политика, космонавтика и идеология, космическая тематика в искусстве, общественные процессы в космический век). Применение новых методологических подходов, таким образом, позволило вписать историю космической гонки конца 1950-х – середины 1970-х годов в общий не только политический, но и культурный контекст того времени, сделать ее органичной частью истории советского общества в целом. Хочется надеяться, что данная работа будет продолжаться и дальше.

В то же время даже событийная составляющая истории советской космонавтики до сих пор нуждается в уточнении – не из-за отсутствия интереса со стороны исследователей, а из-за того, что многие первичные источники по-прежнему остаются засекреченными. По этой же причине и развитие советской космической техники также изучено еще далеко не полностью, хотя успехи здесь достигнуты уже довольно значительные.

Наконец, результаты изучения перечисленных проблем свидетельствуют о том, что даже история науки и техники не сводится в полной мере к рационалистической модели прогресса, движимого одним лишь логическим мышлением и практическими соображениями. Советский прорыв в космическое пространство, долгое время казавшийся торжеством разума, был подготовлен религиозными исканиями русских космистов, в представлениях которых выход за пределы атмосферы, в невесомость и далее к другим планетам имел отчетливый характер новой утопии. Техническое творчество – это культурный процесс, и величайшие научные открытия до сих пор, как и столетия назад, могут быть результатом не только рациональных исследовательских поисков, но и погони за мифом.

## Список литературы

1. Andrews J.T. Getting ready for Khrushchev's Sputnik: Russian popular culture and national markers at the dawn of the space age // *Into the cosmos: Space exploration and Soviet culture* / Ed. by Andrews J.T., Siddiqi A.A. – Pittsburgh (Pa.): Univ. of Pittsburgh press, 2011. – P. 28–44.
2. Andrews J.T. *Red cosmos: K.E. Tsiolkovskii, grandfather of Soviet rocketry*. – College Station: Texas A&M univ. press, 2009. – XX, 147 p.
3. Eremeeva A. The regional dimension of space propaganda // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N. Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 139–150.
4. Gagarin als Archivkörper und Erinnerungsfigur / Hrsg. Schwartz von M., Meyer H., Anding K. – Frankfurt a. Mein: Peter Lang, 2014. – 243 S.
5. Gerovitch S. Memories of space and spaces of memory: Remembering Sergei Korolev // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N. Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 85–102.
6. Gerovitch S. The human inside a propaganda machine: The public image and professional identity of Soviet cosmonauts // *Into the cosmos: Space exploration and Soviet culture* / Ed. by Andrews J.T., Siddiqi A.A. – Pittsburgh (Pa.): Univ. of Pittsburgh press, 2011. – P. 77–106.
7. Grob T. Into the void: philosophical fantasy and fantastic philosophy in the works of Stanisław Lem and the Strugatskii brothers // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 42–56.
8. Gumbert H.L. Cold War theaters: Cosmonaut Titov at the Berlin Wall // *Into the cosmos: Space exploration and Soviet culture* / Ed. by Andrews J.T., Siddiqi A.A. – Pittsburgh (Pa.): Univ. of Pittsburgh press, 2011. – P. 240–261.
9. Hagemeister M. The conquest of space and the bliss of the atoms: Konstantin Tsiolkovskii // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N. Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 27–41.
10. *Into the cosmos: Space exploration and Soviet culture* / Ed. by Andrews J.T., Siddiqi A.A. – Pittsburgh (Pa.): Univ. of Pittsburgh press, 2011. – XII, 330 p.
11. Jenks A.L. The cosmonaut who couldn't stop smiling: The life and legend of Yuri Gagarin. – DeKalb (Illinois): Northern Illinois univ. press, 2012. – VIII, 315 p.
12. Kohonen I. The heroic and the ordinary: Photographic representations of Soviet cosmonauts in the early 1960 s // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 103–120.

13. *Kojevnikov A.* The cultural spaces of the Soviet cosmos // *Into the cosmos: Space exploration and Soviet culture* / Ed. by Andrews J.T., Siddiqi A.A. – Pittsburgh (Pa.): Univ. of Pittsburgh press, 2011. – P. 15–27.
14. *Lewis C.S.* From the kitchen into orbit: The convergence of human spaceflight and Khrushchev's nascent consumerism // *Into the cosmos: Space exploration and Soviet culture* / Ed. by Andrews J.T., Siddiqi A.A. – Pittsburgh (Pa.): Univ. of Pittsburgh press, 2011. – P. 213–239.
15. *Nelson A.* Cold War celebrity and the courageous canine scout: The life and times of Soviet space dogs // *Into the cosmos: Space exploration and Soviet culture* / Ed. by Andrews J.T., Siddiqi A.A. – Pittsburgh (Pa.): Univ. of Pittsburgh press, 2011. – P. 133–155.
16. *Porri A.* Two images of a spaceman in Estonian art: The missing myth of a hero and the fable of failure // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 266–280.
17. *Richers J.* Space is the place! Writing about Soviet space exploration // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 10–20.
18. *Rogatchevski A.* Space exploration in Russian and Western popular culture: Wishful thinking, conspiracy theories and other related issues // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 251–265.
19. *Rüthers M.* Children and the cosmos as projects of the future and ambassadors of Soviet leadership // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 206–225.
20. *Sadym V.* Propaganda of the historical and cultural heritage of cosmonautics: The experience of Russian regional non-governmental organizations // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 151–163.
21. *Schwartz M.* A dream come true: Close encounters with outer space in Soviet popular scientific journals of the 1950s and 1960s // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 232–250.
22. *Siddiqi A.* Cosmic contradictions: Popular enthusiasm and secrecy in the Soviet space program // *Into the cosmos: Space exploration and Soviet culture* / Ed. by Andrews J.T., Siddiqi A.A. – Pittsburgh (Pa.): Univ. of Pittsburgh press, 2011. – P. 47–76.
23. *Siddiqi A.* From cosmic enthusiasm to nostalgia for the future: A tale of Soviet space culture // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 283–306.

24. *Siddiqi A.A.* *Sputnik and the Soviet space challenge*. – Gainesville etc.: Univ. press of Florida, 2003. – XX, 554 p.
25. *Siddiqi A.A.* *The red rocket's glare: Spaceflight and the Soviet imagination, 1857–1957*. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2010. – XIV, 402 p.
26. *Siddiqi A.A.* *The Soviet space race with Apollo*. – Gainesville etc.: Univ. press of Florida, 2003. – P. XX, 517–1005.
27. *Siegelbaum L.* *Sputnik goes to Brussels: The exhibition of Soviet technological wonder* // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 170–187.
28. *Smolkin-Rothrock V.* *Cosmic enlightenment: Scientific atheism and the Soviet conquest of space* // *Into the cosmos: Space exploration and Soviet culture* / Ed. by Andrews J.T., Siddiqi A.A. – Pittsburgh (Pa.): Univ. of Pittsburgh press, 2011. – P. 159–194.
29. *Smolkin-Rothrock V.* *The contested skies: The battle of science and religion in the Soviet planetarium* // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 57–78.
30. *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – XV, 323 p.: ill.
31. *Sylvester R.* ‘Let's find out where the cosmonaut school is’: *Soviet girls and cosmic visions in the aftermath of Tereshkova* // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 121–138.
32. *Sylvester R.* *She orbits over the sex barrier: Soviet girls and the Tereshkova moment* // *Into the cosmos: Space exploration and Soviet culture* / Ed. by Andrews J.T., Siddiqi A.A. – Pittsburgh (Pa.): Univ. of Pittsburgh press, 2011. – P. 195–212.
33. *Vučetić R.* *Soviet cosmonauts and American astronauts in Yugoslavia: Who did the Yugoslavs love more?* // *Soviet space culture: Cosmic enthusiasm in socialist societies* / Ed. by Maurer E., Richers J., Rüthers M., Scheide C. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – P. 188–205.

## **ПОЧЕМУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ НЕ УДАЛОСЬ ОБОГНАТЬ США В РАЗВИТИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (Сводный реферат)**

**1. Асдин С.Т. Конструирование коммунизма: Как два американца шпионили для Сталина и основали советскую Кремниевую долину.**

Ref. ad op.: Usdin S.T. Engineering communism: how two Americans spied for Stalin and founded the Soviet Silicon Valley. – New Haven (Conn.): Yale univ. press, 2005. – XVI, 329 p.: ill.

**2. Афиногенов Г. Андрей Ершов и информатизация в Советском Союзе.**

Ref. ad op.: Afinogenov G. Andrei Ershov and the Soviet informational age // Kritika. – 2013. – Vol. 14, N 3. – P. 561–584.

**3. Реф. статьи: Герович В. Интер-Нет! Почему в Советском Союзе не была создана общенациональная компьютерная сеть // Неприкосновенный запас. – 2011. – № 1. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2011/1/ge4.html><sup>1</sup>**

В статье В.А. Геровича (в настоящее время – преподаватель Массачусетского технологического института, в прошлом работал в Институте истории естествознания и техники РАН) «Интер-Нет!» (3) описываются усилия советского руководства по созданию в СССР национальной компьютерной сети. Попытки создать такую сеть предпринимались неоднократно, чему способствовала и огромная популярность кибернетики в 1950–1970-е годы; по-

---

<sup>1</sup> Данная работа, публикуемая с разрешения автора, представляет собой переработанный вариант статьи: Gerovitch S. InterNet: Why the Soviet Union did not build a nationwide computer network // History and technology. – 2008. – Vol. 24. – P. 335–350.

строение системы связанных между собой вычислительных центров рассматривалось как способ рационализировать управление народным хозяйством на основе современных технологий и существенно повысить его эффективность. Развитие кибернетики в Советском Союзе даже привлекло внимание ЦРУ, эксперты которого увидели в этом потенциальную угрозу. Тем не менее никакой вычислительной сети общегосударственного масштаба в нашей стране так и не появилось. Автор стремится не только раскрыть причины этой неудачи, но и «извлечь историю советских компьютерных сетей из узкого контекста истории вычислительной техники, сделав ее составной частью общего советского прошлого, в котором политика и техника оказываются тесно переплетенными».

Во второй половине 1950-х годов, после смерти Сталина и снятия идеологических запретов на исследования, связанные с кибернетикой и применением математических методов в экономике, компьютеры (ЭВМ) воспринимались едва ли не как панацея от многочисленных проблем, накопившихся в народном хозяйстве. Появились несколько проектов, авторы которых предлагали активнее использовать вычислительную технику в обработке статистических данных и других расчетах, связанных с экономическим планированием. Идеи об установке компьютеров на крупных заводах и в отдельных ведомствах дополнялись предложениями о постепенном объединении этих машин в вычислительную сеть, которая могла бы использоваться как единая автоматизированная система управления экономикой. Предполагалось, что это позволит не только ускорить принятие решений и сделать их болеезвешенными и обоснованными, но и заметно сократить численность административного аппарата. Разрабатывались и проекты распределенных компьютерных систем военного назначения наподобие американской автоматизированной системы ПВО SAGE (Semi-Automatic Ground Environment).

Советское руководство к этим идеям относилось с интересом, но на столь масштабное предприятие, как строительство национальной компьютерной сети, так и не решилось. Сыграло свою роль и сопротивление ряда ведомств, прежде всего Госплана и Министерства обороны.

Влияние сторонников компьютеризации заметно усилилось на рубеже 1950–1960-х годов, когда математические методы стали уже довольно активно применяться в экономике. Идеи превращения народного хозяйства в единую автоматизированную систему пришли по душе команде Хрущёва, который рассматривал раз-

витие кибернетики как одну из составляющих продвижения к коммунизму. Автор, однако, обращает внимание на то, что долгосрочные цели ученых и политического руководства были отнюдь не тождественны: если первые видели в компьютеризации основу для масштабной административной реформы, то для второго она была скорее способом избежать сколько-нибудь серьезных преобразований, заменив их оптимизацией управления на основе новых технологий.

«Советское руководство, – продолжает автор, – обратилось к типичному для себя способу решения проблем – оно создало новый бюрократический орган, отвечающий за данную задачу. Этим органом стало Главное управление по вычислительной технике при Госкомитете по науке и технике». В 1964 г. специальная комиссия под руководством В.М. Глушкова (директор киевского Института кибернетики) «разработала предэскизный проект единой системы оптимального планирования и управления на основе Единой государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ). Предполагаемая сеть должна была состоять из 6 тыс. низовых центров сбора и первичной обработки информации, 50 опорных центров в крупных городах и одного головного вычислительного центра в Москве, управляющего всей сетью и поставляющего информацию для правительства СССР». Ождалось, что эта система позволит оптимизировать процесс управления, исключить подтасовки данных и вы свободить до миллиона служащих для работы непосредственно на производстве. В первоначальном варианте проекта содержалось даже предложение об отказе от бумажных денег и повсеместном переходе на электронные платежи.

Проект Глушкова встретил сопротивление не только со стороны чиновников, но и со стороны либеральных экономистов, уже тогда считавших, что по-настоящему оздоровить советскую экономику могут лишь глубокие реформы с внедрением элементов рынка. Предложенная Глушковым огромная централизованная компьютерная сеть, в их представлении, могла лишь законсервировать сложившиеся подходы к управлению народным хозяйством. Ее будущая эффективность также вызывала сомнения. В силу этой и ряда других причин (восстановление отраслевых министерств после смещения Хрущёва, закрытость и дороговизна военных технологий и т.д.) ни проект Глушкова, ни последующие сходные разработки реализованы не были. Вместо этого в 1960–1970-е годы возникли сотни автономных автоматизированных систем управления (отраслевые, ведомственные, отдельных предприятий), в большин-

стве своем несовместимые между собой, что делало объединение их в единую сеть практически неосуществимым; было создано лишь несколько независимых отраслевых сетей, прекративших свое существование с распадом СССР.

Подводя итоги, автор приходит к выводу, что развитие автоматизированных систем управления (АСУ) и вычислительных сетей в Советском Союзе, как, впрочем, и на Западе, в 1960–1970-е годы было тесно связано с политикой, что повлияло и на содержание предлагавшихся проектов, и на результаты попыток их реализации. Однако если в США в это же время ставка делалась на построение крупных сетей «снизу», путем объединения многочисленных совместимых между собой частных вычислительных систем, а правительство стимулировало не внедрение таких систем в производство, а разработку необходимых технологий, то в СССР речь все время шла о построении общегосударственной компьютерной сети «сверху». К тому же главными потенциальными пользователями вычислительных комплексов такого масштаба оказывались хозяйствственные ведомства, которые были больше заинтересованы в создании своих собственных внутренних АСУ, нежели в их последующем объединении. В этом Герович видит главную причину того, что, несмотря на все усилия, ничего, подобного американской сети ARPANET, положившей начало Интернету, в Советском Союзе так и не появилось.

Тему продолжает статья Г. Афиногенова (Гарвардский университет), тоже выходца из России, посвященная деятельности академика А. П. Ершова уже при Горбачёве (2). Крупный специалист в области информатики, известный не только в Советском Союзе, но и на Западе, Ершов хорошо понимал, что начавшееся в 1980-е годы бурное распространение персональных компьютеров и вычислительных сетей открывает новую эпоху в развитии экономики и общества – эпоху, в которой информационные технологии будут играть ключевую роль. Изобретение компьютера он считал таким же значимым событием, как и создание печатного станка. Из этого в свою очередь следовало, что необходимым условием для успешного внедрения вычислительной техники в производство, управление и повседневную жизнь является обучение широких слоев населения работе с компьютером – подобно тому как изобретение книгопечатания с свое время способствовало распространению грамотности и начального образования.

По существу идеи Ершова представляли собой своеобразную техноократическую утопию. Так, обязательной составляющей ком-

пьютерной грамотности в его представлении являлось не только знание основ программирования, но и «алгоритмический» стиль мышления (т.е. качества, характерные для профессиональных программистов), а следствиями повсеместного использования вычислительных машин должны были стать демократизация общества, уменьшение количества управленцев и чиновников, появление нового класса активных, самостоятельных людей, уверенно владеющих современной техникой и склонных к инициативным решениям. Эти замыслы во многом были созвучны идеям перестройки, что позволило Ершову заручиться поддержкой Горбачёва. Усилиями академика в конце 1984 г. было принято решение о внедрении в 9-х и 10-х классах школ уже в следующем учебном году нового предмета «Основы информатики и вычислительной техники». Статьи по информатике и программированию регулярно публиковались в научно-популярных журналах.

Тем не менее начинания Ершова потерпели сокрушительную неудачу. В одночасье наладить во всех школах нормальное преподавание информатики было попросту невозможно по причине острейшего дефицита и собственно компьютеров, и квалифицированных учителей. Поскольку обучение основам алгоритмизации рассматривалось фактически как самоцель, широкое распространение получило изучение программирования на бумаге, без использования компьютера. Неудивительно, что среди учащихся интерес к таким занятиям был минимальным. Даже в тех школах, где имелись компьютеры, возможности для их использования были сильно ограничены, поскольку согласно действующим нормативам Минздрава школьники должны были работать за компьютером не более 20 минут в неделю. Критику вызывал и написанный Ершовым учебник по информатике: многим оппонентам академика казалось, что книга перегружена сведениями по программированию, тогда как при массовом распространении персональных компьютеров подавляющему большинству пользователей навыки профессиональных программистов никогда не понадобятся. В 1988 г. учебник был переиздан в значительно переработанном виде; раздел по алгоритмике был сокращен наполовину. Вплоть до распада СССР (сам Ершов умер в конце 1988 г.) практические навыки в использовании компьютера оставались уделом профессионалов и немногочисленных энтузиастов-любителей.

Причиной такого исхода, по мнению автора, были не только неблагоприятные условия, сложившиеся в стране на рубеже 1980–1990-х годов, но и особенности мировоззрения советской научной

элиты, сформировавшегося еще при Хрущёве. Помимо сугубо научных оснований оно имело и важную идеологическую составляющую: предполагалось, что распространение компьютеров и информационных технологий будет способствовать демократическим преобразованиям и ограничению власти бюрократии – в противовес официальным концепциям советского руководства, в рамках которых компьютеризация рассматривалась лишь как способ оптимизировать управление. Это не позволило таким специалистам, как А.П. Ершов, трезво оценить складывающуюся обстановку и налагаемые ею ограничения, вследствие чего предлагавшиеся меры по переходу к информационному обществу оказались невыполнимыми.

Следует отметить также книгу Стивена Т. Асдина (главный редактор в компании BioCentury Publications), посвященную судьбе американских инженеров Джоэла Барра и Альфреда Саранта, бежавших в 1950-е годы в СССР и сыгравших важную роль в создании «советской Кремниевой долины» – центра электронной и микроэлектронной промышленности в Зеленограде (в Советском Союзе они были известны как Иосиф Вениаминович Берг и Филипп Георгиевич Старос) (1). С Бергом автор был знаком лично, впервые они встретились в 1990 г. в Москве, дружеские отношения поддерживали вплоть до смерти Берга в 1998 г. В своем исследовании Асдин попытался решить три основные задачи: во-первых, изучить биографию Староса и особенно Берга – едва ли не единственных перебежчиков с Запада, сумевших сделать успешную карьеру в СССР; во-вторых, прояснить на их примере причины общей неэффективности советской системы, следствием которой стало поражение в технологической гонке несмотря на огромные экономические и интеллектуальные ресурсы Советского Союза; и, наконец, в-третьих, глубже понять мировоззрение и образ мыслей тех представителей американской научной элиты, которые в 1940–1950-е годы сотрудничали с советской разведкой. Ему удалось уточнить также некоторые детали в истории шпионской сети, возглавлявшейся Юлиусом Розенбергом: вопрос о ценности переданных им сведений, касавшихся американского атомного проекта, остается дискуссионным, но очевидно, что поступавшая от его группы информация о радарах, реактивных двигателях, аналоговых компьютерах и др. имела огромное значение для советской стороны, особенно в первые годы холодной войны.

Дж. Барр родился в 1916 г. в Нью-Йорке в еврейской семье, в 1905 г. переехавшей в Америку из России. В 1938 г. окончил Городской колледж Нью-Йорка (CCNY) по специальности инженера-

электрика. Коммунистическими идеями интересовался с юности. В условиях Великой депрессии и с учетом набиравших силу в США профашистских и антисемитских настроений советский эксперимент казался вполне действенной альтернативой капитализму, тем более что об истинных условиях жизни в СССР на Запад просачивались лишь отрывочные сведения, которые у Барра и его сверстников доверия не вызывали. Знакомство с марксистской идеологией порождало чувство избранности, причастности кциальному знанию, доступному немногим. Помимо марксизма, важное место в мировоззрении Барра занимал технократизм: новые технологии представлялись ему тем инструментом, с помощью которого идеи социальной справедливости могут стать реальностью. В студенческие годы он познакомился с Розенбергом.

Автор подчеркивает, что вера Розенберга, Барра и их будущих товарищей по шпионской деятельности в коммунистическую идею имела совершенно иррациональный, почти религиозный характер. Ее не поколебало даже известие о заключении пакта Молотова – Риббентропа 23 августа 1939 г., спровоцировавшее массовый отток людей из Коммунистической партии США. Альянс Советского Союза с нацистской Германией Барр рассматривал как временный тактический ход. Точно так же он, по-видимому, воспринял и советско-американское сближение после 22 июня 1941 г.

С 1940 г. Барр и Розенберг работали в лабораториях Корпуса связи Армии США в Нью-Джерси, что давало им доступ к секретной информации о новейших военно-технологических изысканиях, например, об исследованиях в области радиолокации. По-видимому, именно необходимость сотрудничать с военным ведомством в то время, когда американская компартия, следуя инструкциям из Москвы, выступала против вовлечения Соединённых Штатов в разгоревшийся мировой конфликт, подтолкнула их к поиску связей с советской разведкой: шпионаж в пользу СССР как бы компенсировал для них ту помощь, которую они невольно оказывали предполагаемым «поджигателям войны». Первые контакты Розенберга и его окружения с советскими агентами относятся к началу 1941 г., еще до германского нападения на СССР. Следовательно, основным их мотивом была не борьба с нацизмом, а помощь Советскому Союзу как первому в мире коммунистическому государству, какую бы политику он ни проводил. В это же время Барр познакомился и подружился с А. Сарантом.

В 1942 г. Барр был уволен из Корпуса связи, после того как стало известно, что он имеет какое-то отношение к коммунистиче-

скому подполью, однако вскоре устроился на работу в компанию Western Electric, которая также выполняла военные заказы. За годы войны он и Сарант сумели передать советской стороне огромный объем информации, в том числе о радарных установках, авиационных прицелах, аналоговых компьютерах для управления огнем и др. После войны они основали собственную фирму Sarant Laboratories, но она вскоре разорилась. В 1946 г. Барр поступил на работу в компанию Sperry Gyroscope, но в 1947 г. был снова уволен за связь с коммунистами. В 1948 г. он уехал в Европу.

После ареста Юлиуса и Этель Розенбергов в 1950 г. Барр и Сарант бежали в Чехословакию, где получили новые имена и поступили на работу в местное конструкторское бюро. Ими, в частности, был разработан аналоговый компьютер для войск ПВО, принятый на вооружение Чехословацкой армией. Однако оба они уже тогда были уверены, что будущее электронники, как и техники в целом, – в цифровых технологиях и микроэлектронике, элементной базой для которой должен был стать изобретенный в 1948 г. транзистор. Поскольку их предложения о развертывании в Чехословакии производства транзисторов и устройств на их основе не встретили поддержки вышестоящего руководства, в 1956 г. Барр и Сарант (Берг и Старос) переехали в СССР.

Свою деятельность в нашей стране они начали в Ленинграде, где создали и возглавили новое предприятие по разработке электронной вычислительной техники – спецлабораторию № 11 (позже – Специальное конструкторское бюро № 2, затем – Конструкторское бюро № 2). Во многих отношениях она больше походила на американские высокотехнологичные компании, чем на советские. Лаборатория не была узкоспециализированным предприятием, поскольку Берг и Старос старались производить необходимые компоненты по возможности собственными силами, чтобы не зависеть от других организаций. Кроме того, они не боялись реализовывать свои собственные идеи и представлять вышестоящему руководству прототипы устройств, еще находящихся в разработке, тогда как руководители других предприятий электронной промышленности зачастую предпочитали копировать технологии, уже зарекомендовавшие себя в США, невзирая на то, что такой подход, хотя и более «надежный» с бюрократической точки зрения, в техническом отношении был по существу беспersпективным. Оставаясь убежденными коммунистами, Берг и Старос считали советский бюрократизм преходящим явлением и рассчитывали, что плановая экономика с ее огромными возможностями по концентрации усилий и ресурсов

на решающих направлениях позволит СССР преодолеть отставание от западных стран и стать мировым технологическим лидером.

Важнейшей заслугой Берга и Староса на этом этапе было создание первых советских компьютеров на транзисторах, потенциал которых в Советском Союзе долгое время недооценивался. Их успехи привлекли внимание Хрущёва, и в 1962 г. он поддержал их проект по созданию в подмосковном Зеленограде мощного комплекса предприятий, в состав которого должны были войти не только научные лаборатории, но и собственные производственные мощности и учебные заведения, что позволило бы совместить в рамках одной организации и подготовку специалистов, и разработку новых технологий, и их внедрение в производство. Однако директором зеленоградского Научного центра Старос так и не стал. Более того, покровительство Хрущёва впоследствии оказалось для Берга и Староса роковым: после его смещения они подверглись унизительной «проработке» на коллегии профильного госкомитета и были фактически отстранены от работы в Зеленограде, хотя и продолжали работать в ленинградском КБ-2. Им удалось реализовать ряд успешных проектов (например, по разработке интегральных микросхем), однако в целом их деятельность оказалась не слишком востребованной. Сказались конфликты с ленинградской партийной верхушкой, в частности с Г.В. Романовым; кроме того, с конца 1960-х годов советское руководство окончательно отказалось от новых разработок в области микроэлектроники, посчитав простое копирование американской техники более надежной стратегией. Сыграли свою роль и культурные различия: так, отношения с главнокомандующим ВМФ адмиралом С.Г. Горшковым испортились после того, как Берг и Старос, приглашенные на прием по случаю успешных испытаний подводной лодки с разработанным ими бортовым компьютером, отказались пить водку и налили себе принесенный с собою чай, выдав его за коньяк. Их конструкторское бюро после нескольких реорганизаций вошло в состав НПО «Светлана», и в 1973 г. они были смещены с руководящих должностей.

Старос в 1975 г. переехал во Владивосток, где ему удалось сформировать собственную лабораторию в структуре Дальневосточного отделения АН СССР, однако неожиданная смерть в 1979 г. помешала ему в полной мере реализовать свои замыслы. Берг продолжал работать в Ленинграде, в частности, над проектом по созданию малогабаритного оборудования для производства интегральных микросхем. Его дети переехали в Прагу, сын Роберт впоследствии

бежал в США, в некотором смысле повторив опыт своего отца, хотя и с точностью до наоборот. Берг положительно отнесся к экономическим реформам Горбачёва, но в целом политику перестройки оценивал крайне скептически, считая ее началом конца советской науки. В 1990 г. ему удалось впервые за много лет посетить США; в дальнейшем вплоть до своей смерти в 1998 г. он регулярно был на родине по несколько месяцев в году. Он вышел из КПСС, опасаясь проблем с получением американской визы, но оставался убежденным коммунистом, несмотря на энтузиазм, который у него вызывали широкие социальные гарантии, введенные в Америке за время его отсутствия. Он неизменно отрицал свое участие в шпионской деятельности, хотя в 1995 г. были рассекречены документы проекта «Венона» по расшифровке советских донесений, а в 1997 г. его связь с советской разведкой публично подтвердил полковник КГБ А. С. Феклисов, работавший в свое время с группой Розенберга.

В России лаборатория Берга прекратила свое существование из-за отсутствия финансирования, его исследования так и не были завершены. Поскольку книга Асдина не имеет заключения, свой ключевой вывод он приводит в предисловии: «Фактически два американца основали советскую микроэлектронную промышленность и возглавляли ее в течение непродолжительного времени. Это не означает, что русские не смогли бы сами создать что-либо подобное или даже лучшее. Также невозможно узнать, что произошло бы, если бы Барр и Сарант дольше оставались на руководящих должностях. Им казалось, что еще нескольких лет было бы достаточно, чтобы Советский Союз оказался в состоянии обогнать Соединённые Штаты, что первый персональный компьютер был бы создан в пригороде Москвы, а не в Кремниевой долине. Они почти наверняка ошибались: их успехи были исключением и резко контрастировали с неработоспособной системой, которая давила инновации и душила любые проявления самостоятельности в науке и в искусстве» (1, с. XIII).

*М.М. Минц*

**Герович С.**

**ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ: ФОРМАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ  
И НЕФОРМАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОСЛЕВОЕННОЙ  
СОВЕТСКОЙ МАТЕМАТИКИ**  
**(Реферат)**

Ref. ad op.: Gerovitch S. Parallel worlds: formal structures and informal mechanisms of postwar Soviet mathematics // Historia scientiarum. – Tokyo, 2013. – Vol. 22, N 3. – P. 181–200.

Статья Славы Геровича (Массачусетский технологический институт) посвящена социальной истории советской математики в период с 1950-х по начало 1980-х годов. Математики старшего поколения часто характеризуют это время как «золотой век», и недаром: советская математика тогда действительно развивалась исключительно динамично. Современные авторы объясняют это, как правило, тем, что исследования в области математики представляют собой чисто интеллектуальную работу, для которой не требуется ни специальных лабораторий, ни сложного оборудования; таким образом обеспечивается относительная независимость от спонсоров, в том числе и от государства. Кроме того, математика в СССР, в отличие, к примеру, от биологии (не говоря уже об общественных и гуманитарных науках), не подвергалась идеологическому контролю. Герович, однако, обращает внимание на то обстоятельство, что научный поиск – процесс коллективный, и успешным он может быть только при наличии соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей продуктивный диалог между исследователями. Официальные же научные учреждения Советского Союза скорее препятствовали такому диалогу по целому ряду причин. Ответом ученых-математиков было создание разного рода неформальных структур. Их изучение является основной задачей статьи.

Положение отечественной математики в описываемый период было отнюдь не простым. Связи с международным научным сообществом оставались крайне слабыми из-за ограничений на зарубежные поездки и дефицита иностранной литературы. Взаимодействие между учеными внутри страны сдерживалось тем, что многие научные учреждения были закрытыми. Преподавание даже в ведущих университетах велось зачастую по устаревшим программам, новые курсы внедрялись медленно и с большим трудом из-за бюрократических проволочек, попытки организации дополнительных занятий с участием приглашенных специалистов из других учебных заведений тоже нередко наталкивались на сопротивление администрации. Неформальные контакты преподавателей со студентами не поощрялись. Доступ в крупнейшие университеты искусственно ограничивался для самых разных категорий «неблагонадежных» абитуриентов, включая подозреваемых в политическом инакомыслии, евреев, временами даже выпускников школ с углубленным изучением математики; если представителям этих групп и удавалось получить математическое образование, они как правило сталкивались с трудностями при устройстве на работу в академические институты и часто вынуждены были работать не по специальности, продолжая заниматься математикой в свободное время. «Условия, в которых развивалась советская математика в 1950–1980-е годы, – подытоживает автор, – больше походили на верный путь к катастрофе, чем на “золотой век”» (с. 187).

Пытаясь преодолеть эту ситуацию, советские ученые применяли самые разнообразные стратегии, среди которых Герович прежде всего отмечает создание ряда школ с углубленным изучением математики и физики. Немаловажную роль в их появлении сыграли такие специалисты, как А.Д. Сахаров и Я.Б. Зельдович, связанные с разработкой ядерного оружия и в силу этого имевшие определенное влияние на партийное руководство. В подобные школы могли поступить дети из «неблагонадежных» семей, а занятия нередко вели студенты старших курсов, что размывало барьер между учащимися и преподавателями. Физико-математические школы подверглись массовым чисткам после выступления диссидентов против ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 г., но сложившиеся там новые социальные практики продолжали существовать и в дальнейшем.

Большое распространение получили также бесплатные кружки и курсы по математике, организованные в частном порядке, на добровольной основе. На механико-математическом факультете МГУ

в 1978–1982 гг. подобные занятия проводились регулярно (хотя и подпольно); в обиходе их называли «народным университетом» или «еврейским народным университетом», поскольку занятия были открыты для всех желающих независимо от национальности. Их посещали и студенты самого мхмата, которым это давало возможность изучать предметы, отсутствующие в официальной программе. В общей сложности через «народный университет» за все время его существования прошли около 350 слушателей.

Помимо этого, абитуриентов-евреев и других «неблагонадежных», не имевших доступа в наиболее престижные вузы вроде МГУ или Физтеха, нередко принимали в менее известные учебные заведения. Одна из самых сильных математических школ сформировалась, к примеру, в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ).

В свою очередь, ограничения при приеме на работу по национальному признаку и другим критериям привели к переизбытку квалифицированных математиков на рынке труда. В этих условиях части из них удавалось получить работу в различных компьютерных центрах и научных учреждениях, занимавшихся прикладными исследованиями. Этому способствовала и сеть неформальных связей между преподавателями и их бывшими учениками; большую помошь в трудоустройстве и публикации статей оказывал своим ученикам, в частности, И.М. Гельфанд. Парадоксальным образом, однако, неформальные социальные структуры оказывались в результате тесно связаны с официальными, а отношения покровительства между научным руководителем и учениками фактически воспроизводили традиционную советскую иерархию – с той существенной оговоркой, что участие в подобного рода деятельности само по себе не приносило прямой материальной выгоды и поэтому было привлекательно лишь для тех, кто всерьез интересовался наукой.

Одной из ключевых составляющих параллельной социальной инфраструктуры стали открытые семинары по математике. Они проводились в нескольких крупных университетах в свободное от работы и учебы время и были рассчитаны прежде всего на студентов старших курсов, но могли посещаться и людьми со стороны, в том числе учеными, уже окончившими университет. Участие в таких семинарах не давало студентам никаких официальных преимуществ, но позволяло ознакомиться с последними достижениями науки. Помимо этого открытые семинары играли роль постоянной дискуссионной площадки для различных научных школ. Особое значение приобрел семинар Гельфанда в МГУ, проводившийся с

1943 по 1990 г. и обеспечивший возможность для диалога между самыми разными направлениями в отечественной математике.

Благодаря подобным неформальным отношениям в СССР сформировалось «вероятно, крупнейшее в мире математическое сообщество, сконцентрированное в Москве и Ленинграде» (с. 196); ряд его представителей (С.П. Новиков, Г.А. Маргулис, В.Г. Дринфельд) стали лауреатами Филдсовской премии. Традиции этого сообщества пережили даже крушение коммунистического режима: так, Дринфельд, эмигрировавший в 1998 г. в США и работающий сейчас в Чикагском университете, до сих пор ведет свой собственный открытый семинар, который «наследуя, по-видимому, традициям знаменитого семинара Гельфанда в Москве... в настоящее время собирается регулярно по понедельникам в 17:30 и продолжается до тех пор, пока и докладчик, и слушатели окончательно не обессилюют» (цит. по: с. 198). Любопытно также, что в Москве в постсоветские годы усилия научного сообщества сконцентрировались не на реформировании мехмата, а на создании новых независимых учебных заведений (Независимый Московский университет, Московский центр непрерывного математического образования, факультет математики Высшей школы экономики).

Таким образом, создание «параллельного мира» неформальных мероприятий, сообществ и связей, включавшего в себя самые разнообразные кружки, семинары, открытые лекции и другие способы коммуникации, обеспечило советским математикам возможность поддерживать научный диалог, находить партнеров и защищать свои интересы в обход официальных учреждений и тем самым стимулировало бурное развитие математики в нашей стране несмотря на существовавшие бюрократические ограничения. Герович отмечает, что официальные и неофициальные структуры не были жестко отделены друг от друга; более того, они зависели друг от друга и находились в постоянном взаимодействии, подобно тому как это происходило между «белой» и теневой экономикой. «В одном отношении, однако, – пишет он, – граница между официальными учреждениями и параллельными социальными структурами в советской математике была очевидна: последние поддерживали альтернативную систему ценностей, культурную среду, в рамках которой математики не только продуктивно занимались математикой, но и культивировали групповую идентичность, отличную от официально декларируемых советских ценностей. Возможно, это и позволяло им продуктивно заниматься математикой» (с. 200).

М.М. Минц

**Станциани А.**

**ЧАЯНОВ, КЕРБЛАЙ И ШЕСТИДЕСЯТНИКИ:  
ГЛОБАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ?**  
(Реферат)

Ref. ad op.: Stanziani A. Čajanov, Kerblay et les shestidesiatniki: Une histoire globale?// Cahiers du monde russe. – P., 2004. – Vol. 45/3–4. – P. 385–406.

Статья Александра Станциани помещена в подборке материалов, посвященных памяти французского русиста Василия Керблая (Базиля Кербле, 1920–2004), занимавшегося исследованиями по истории российского и советского общества, в первую очередь – историей русского крестьянства. В статье рассматривается судьба повторного открытия научного наследия А.В. Чаянова, основателя междисциплинарного крестьяноведения, в период от 1960-х годов и до перестройки. Обращение к идеям Чаянова связано с подъемом исследований в области аграрной истории России и Европы в целом, а также с оживлением интереса экономистов, социологов и антропологов к деколонизации и истории развивающихся стран. В связи с реабилитацией Чаянова в 1987 г. и появлением новых работ о нем особое внимание в приложении к статье удалено открытию архивов и их классификации.

Вопросы, вокруг которых сосредоточена мысль русского автора, считает Станциани, характерны для XX в. в целом: история и программы экономического развития, кризис государства благосостояния, судьба СССР и стран Третьего мира и, наконец, роль малых семейных предприятий в индустриальных и развивающихся странах. Эта востребованность идей Чаянова требует объяснения как в плане их истоков, так и значимости, поэтому автор статьи

начинает с описания интеллектуального контекста, на фоне которого произошло «открытие» Чаянова в начале 1960-х годов (с. 385).

На международной конференции по экономической истории в Экс-ан-Прованс в 1962 г. видный индолог Даниэл Торнер (Thorner) выдвинул новаторскую идею: в противовес традиционным марксистским тезисам, он считал, что крестьянская экономика не несет в себе черты, присущие переходному периоду между феодализмом и капитализмом, а напротив, может рассматриваться как особая система. В качестве примера он приводит Индию, Китай, Латинскую Америку и царскую Россию. Относительно последней он сослался на статью «явно русского автора, некоего Чаянова», опубликованную в 1924 г. в «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», виднейшем журнале того времени, которым руководили А. Вебер, Э. Ледерер и Дж. Шумпетер. В этой статье было показано, что, вопреки марксистскому учению о формациях, крестьянская экономическая система не только существует, но и в состоянии поддерживать развитие рыночной экономики.

Торнер отыскал в Германии еще одно произведение того же автора, где речь шла о теории крестьянской экономики. Здесь Чаянов выявляет связь между производством и потреблением, соразмерностью годового цикла труда со степенью удовлетворения потребностей хозяйствующей семьи. Согласно его подходу, в крестьянской общине имеют место временные формы дифференциации, связанные с семейным циклом, к которому приспособлено общинное распределение земель. На взгляд Торнера, эта теория позволяет нагляднее, чем марксистские или либеральные теории, показать, в частности, роль крестьянских хозяйств в Индии.

Здесь интересы Торнера сошлись с интересами Василия Керблая. В это время тот изучает теорию планирования, но начинает интересоваться крестьянскими рынками в СССР, в особенности находившимися вне официальной системы снабжения. Он пытается решить один из важнейших вопросов советской истории: был ли отказ от нэпа в конце 1920-х годов обоснован экономическими или только политическими причинами. В этом контексте мотивы и возможности крестьян продавать излишки играли центральную роль. Подобный вопрос встал и после коллективизации, когда колхозы официально стали единственными источниками снабжения городов продовольствием. Однако Керблай считал, что существовали и другие источники снабжения, следовало лишь выявить их и вычислить их объем. Отсюда интерес Керблая и Торнера к аргументам Чаянова, предложившего новые способы выявления форм ком-

мерциализации крестьянского хозяйства. Не меньший интерес для Керблай представляла и среда, в которой сформировались взгляды Чаянова, его отношения с царской, а затем советской властью.

После двух лет поисков в западных библиотеках и институтах Керблай собрал значительную библиографию и составил весьма удовлетворительную биографию Чаянова, учитывая трудности, с какими сталкивался западный исследователь, занимающийся советским автором, да еще запрещенным. В статье перечисляются работы, изданные стараниями Керблай с участием Торнера и Р. Смита, включая 8-томное издание избранных трудов Чаянова. Подчеркивается, что повторное открытие Чаянова было обязано своим успехом в значительной мере тому, что оно произошло в ином историографическом и интеллектуальном контексте, а именно в разгар дебатов о реформах в СССР и обновления экономической истории на Западе.

Обновление советской историографии в 1960-е годы зиждилось на «подпольной циркуляции» идей запрещенных авторов и имело в виду определенную цель – «реформировать социализм», пишет А. Станциани. Среди выдвинутых задач две восходят непосредственно к экономической мысли 1920-х годов: с одной стороны, внимание к более эффективному планированию, предложенному тогда специалистами Госплана и Земплана, с другой стороны, требование улучшить сельскохозяйственную отдачу, особенно снабжение городов, согласно предложениям Чаянова и экономистов-аграрников.

Идеи Чаянова оказали влияние на некоторых советских историков – А.М. Анфимова и особенно В.П. Данилова, который показал в своих работах размах кооперативного движения накануне Первой мировой войны и в 1920-х годах. Как и Керблай, он занимался исследованием коммерческих связей между крестьянскими хозяйствами. Историографические и политические последствия этого подхода, по словам Станциани, были очень значительны: становилось ясно, что решение Сталина об отказе от нэпа и переходе к усиленной коллективизации противостояло ленинско-бухаринской (а также чаяновской) теории кооперации, внедрение которой могло способствовать созданию жизнеспособной системы социалистической крестьянской экономики.

В 1960-е годы не только Керблай интересовался аграрной историей России. Среди тех, кто способствовал обновлению историографии, автор называет имена двух исследователей. Первый, М. Конфино, развивая подход Марка Блока к изучению феодализма,

выявляет многомерный характер русского крепостного права. Второй, М. Левин, занимается историей экономических теорий, в контексте которых дорогие сердцу Чаянова кооперативы играли ключевую роль. Начиная с этого момента множатся исследования, посвященные экономистам и аграрной экономике 1920-х годов в СССР. Сторонники нового подхода утверждают: так как история не детерминирована, возможен выбор. В частности, сталинская коллективизация не была единственным возможным путем развития. Этот аргумент противоречит тезисам А. Эрлиха и Н. Ясного, которые, следуя идеям Е. Преображенского 1920-х годов, подчеркивали приоритет индустриального развития СССР. В этом контексте А. Гершенкрон, беря за основу «русский случай», предложил общую теорию развития – в «отстающих» странах государство заменяет буржуазию в качестве двигателя модернизации.

На рубеже 1950–1960-х годов польский историк В. Куля также «открывает» Чаянова, но, не имея возможности открыто его цитировать, использует его идеи в своем анализе возникновения крепостнической системы в Восточной Европе. Труды В. Кули позволяют установить тесную связь между историографическими и политическими дебатами в СССР и странах «народной демократии» и обновлением европейской экономической истории (будучи переведена на французский язык, его книга, посвященная разработке экономической теории феодальной системы, была одобрена Ф. Броделем). Исследуя отношения между городом и деревней в средневековой Польше, Куля показывает, что крестьянская семья не ориентирована на самообеспечение, она коммерциализует часть своей продукции: зимнее рабочее время дает возможность заняться ремеслом, торговлей. Семейный демографический цикл оказывается не менее важен, чем собственно экономический цикл.

В начале 1970-х годов, опираясь на чаяновский анализ распределения семейного времени, немецкие историки показали, что зимой крестьянская семья занимается производством продукции на продажу – процесс, который можно назватьprotoиндустриализацией. Такой подход ставил под вопрос «этапы развития» самого капитализма, позволяя отойти от традиционных интерпретаций, которые стремились историю развития древних и докапиталистических обществ загнать в узкие рамки марксистских категорий. В исследованиях предстает иная система, которая не должна неизбежно эволюционировать к капитализму или к разделению общества на «классы». Таким было последнее эхо дебатов, которые в

России первой четверти ХХ в. противопоставили Чаянова сначала Ленину, а затем «марксистам-аграриям», пишет А. Станциани.

Интерес к Чаянову значительно возрос в связи со спорами о путях развития слаборазвитых стран – бывших колоний, где усиливались задолженность и отставание. Если в 1950-е годы аграрная экономика стран Третьего мира рассматривалась как фактор отсталости, то с начала 1960-х годов такой подход все более активно оспаривался. Новое поколение экономистов видело решение в сбалансированном и долговременном развитии, в ходе которого крестьянская экономика постепенно эволюционирует к экономике рыночной, предоставляя к тому же рабочие места тем, кто не найдет постоянной работы в городе. Однако политическая ориентация экс-колоний в контексте холодной войны устанавливала прямую связь с их «особым» путем экономического развития. Авторы, считающие, что процесс развития должен учитывать местную специфику, а крестьянская экономика способна продуктивно сочетать развитие хозяйства, коммерциализацию и занятость (Н. Жоржеску-Руген, Дж. Шумпетер, В. Леонтьев), видели в Чаянове своего предшественника.

Перестройка в СССР сопровождалась подъемом интереса к реформе социализма и, соответственно, к авторам, запрещенным в сталинскую эпоху. Одним из первых шагов М. Горбачёва стала реабилитация А. Чаянова и Н. Бухарина. Автор статьи подчеркивает роль шестидесятников в подготовке этого процесса. В частности В.П. Данилов, с помощью В. Керблая, составляет полную библиографию трудов Чаянова и его ближайших соратников, самым решительным образом способствуя восстановлению аграрной и политической истории советского периода от революции до Второй мировой войны. Т. Шанин помогает обмену исследований между СССР и «Западом», выпускает в 1986 г. новую версию сборника трудов Чаянова, изданного в 1966 г. Торнером, Керблаем и Смитом, пишет несколько статей и организует конференции, публикацию документов, связанных с Чаяновым и аграрным вопросом в России.

Однако уже в начале 1990-х падает интерес к «реформам социализма» и к истории 1920-х годов. Поиски либеральной модели рыночной экономики переключают интерес на других экономистов, скорее западных, нежели русских, и на другие моменты истории России (Витте и реформы Столыпина). Шестидесятники вновь отодвинуты в тень, на этот раз как «тоскующие по марксизму». В.П. Данилов выступает с критикой приватизации 1991 г., но в то же время продолжает свою работу как историк: в 1990-х го-

дах издает архивные документы о крестьянском сопротивлении и коллективизации.

В трудах по антропологии, социологии и экономике после затишья 1985–1995 гг. вновь наблюдается рост интереса к трудам Чаянова, что связано, прежде всего, с критическим анализом способа проведения приватизации в странах бывшего коммунистического блока, а также в Азии, особенно во Вьетнаме. Роль крестьянских кооперативов вновь оказывается на повестке дня. В отличие от дебатов 1970-х годов, считает Станциани, наблюдается тенденция к примирению марксистских и чаяновских аргументов. С окончанием холодной войны предпочитают не говорить о крестьянах и пролетариях – напротив, социальные идентичности строятся вокруг таких понятий, как религия, этническая принадлежность, пол и др. Наконец, идеи Чаянова – поиски путей развития «в масштабе человека», с особым вниманием к малым сообществам и окружающей среде – становится важной опорой экологического и антиглобалистского движения, а самому автору в 1990-е годы в западной историографии было посвящено немало работ.

В России продолжается публикация архивных документов, касающихся Чаянова и аграрной экономики 1920-х. В обоих случаях роль Т. Шанина и В.П. Данилова оставалась центральной. Для многих читателей обращение к идеям Чаянова в наши дни стало возможным благодаря трудам В. Керблая, сумевшего проложить мост между изучением истории России и нынешними проблемами экономического развития. Этим же занимался и В.П. Данилов, создавший не только обширную историографию вопроса, но и до конца выступавший в защиту своих идей, заключает автор.

*Т.М. Фадеева*

**Грэхем Л., Дежина И.**  
**НАУКА В НОВОЙ РОССИИ:**  
**КРИЗИС, ПОМОЩЬ, РЕФОРМЫ**  
**(Реферат)**

Ref. ad op.: Graham L., Dezhina I. Science in the new Russia. Crisis, aid, reform. – Bloomington: Indiana univ. press, 2008. – 193 p.

Монография Лорена Грэхема, известного историка науки, преподававшего в Массачусетском технологическом институте и в Гарварде, и д-ра экон. наук, зав. сектором экономики науки и инноваций Института мировой экономики и международных отношений РАН Ирины Дежиной, состоящая из введения, восьми глав и заключения, посвящена судьбе российской науки в последние годы существования СССР и в постсоветский период. В центре внимания авторов – следующие проблемы: что происходит с наукой, когда исчезает государство, организующее и поддерживающее ее? Какова природа отношений между политической системой и механизмом функционирования науки и высшего образования? Какими были результаты – преднамеренные и непреднамеренные – масштабной иностранной помощи оказавшейся в кризисе национальной науке? При этом основное внимание авторы сосредоточили на исследовании тех процессов, которые происходили в сфере естественных наук; что касается проблем общественных наук, высшей школы, так называемой утечки мозгов и ряда других вопросов, то они освещаются достаточно кратко и лишь постольку, поскольку связаны с основной проблематикой монографии.

Как отмечается в монографии, после краха Советского Союза прежде одна из крупнейших в мире научная организация пережила драматичные изменения. Финансирование науки из российского бюджета сократилось примерно до 20% от уровня государственного

финансирования в советские годы. Одновременно начался массовый отъезд специалистов из страны, – Россию покинули тысячи самых талантливых ученых. Всё это нанесло серьезный урон российской науке; многие наблюдатели предсказывали даже ее полный упадок. Авторы полагают, однако, что самые пессимистичные прогнозы не оправдались – российская наука выжила и даже «начала до некоторой степени оправляться». Однако это восстановление, по мнению Грэхема и Дежиной, отнюдь не стало возвращением к прежнему состоянию. «Советская централизованная и авторитарная система организации и финансирования научных исследований не соответствовала условиям демократического общества и свободного рынка», – пишут авторы, отмечая, что Россия все же не смогла полностью преобразоваться в такое общество, что накладывает на дебаты о судьбе российской науки определенный отпечаток. В целом проблема «взаимоотношений между наукой и демократией» актуальна отнюдь не только для России, учитывая, что настоящая наука не может не быть в известном смысле элитарной. По мнению авторов, авторитарный советский режим в деле организации науки добился больших успехов, чем в любой другой сфере управления. Поэтому ответ на вопрос, насколько в новой России система управления и финансирования науки должна была подвергнуться изменениям и какой должна была оказаться направленность этих преобразований, являлся отнюдь не очевидным (в отличие от проблемы трансформации методов управления экономикой). «Если преимущества рыночной экономики перед экономикой централизованно управляемой очевидны во всем мире, то позитивный эффект перехода от централизованной и “элитарной” советской науки к более децентрализованной системе можно поставить под сомнение и в России, и, возможно, в ряде других стран» (с. VII).

Кроме того, развитие науки в постсоветский период позволило возможность специалистам не только проследить воздействие финансово-экономического кризиса на сферу фундаментальных исследований; происходившие в этой сфере «невероятные разрушительные процессы предоставили уникальную возможность изучить “анатомию науки”, которой, впрочем, воспользовались немногие специалисты» (с. 164).

Значительное влияние на преобразования в российской науке оказывали иностранные фонды и организации, которые осуществляли то, что один из руководителей крупного американского фонда назвал «возможно, крупнейшей программой научной помощи, которую когда-либо видел мир». Подобные фонды и организации из

более чем 20 стран влили в российскую науку несколько миллиардов долларов. В монографии рассматривается деятельность таких зарубежных структур, как INTAS (Международная ассоциация по содействию сотрудничеству с учеными из независимых государств бывшего Советского Союза); IREX (Совет по международным исследованиям и обменам); ISF (Международный научный фонд); ISTC (Международный научно-технический центр); CRDF (Американский Фонд гражданских исследований и развития); TACIS (Программа технического содействия Европейского союза); NSF (Национальный научный фонд США); ISSEP (Международная программа Сороса по развитию науки и образования); DFG (Германский исследовательский фонд); DAAD (Германская служба академических обменов) и др.

Грэхем и Дежина полагают, что во многом именно усилиями фондов из стран Северной Америки, Западной Европы и Японии российская наука была спасена от краха в самый тяжелый период – в середине 1990-х годов. Однако эти агентства и фонды не просто давали деньги; они привнесли собственные принципы – как организационные, так и идеологические; соответственно, вопрос о характере и последствиях их влияния закономерно стал одним из центральных в дебатах о судьбе российской науки и высшей школы. Прежде всего, западные фонды привнесли принципы, которые ранее практически не применялись в российской науке, – такие, как открытая конкуренция исследователей за гранты, методы экспертной оценки и т.д. В то же время многие фонды не просто поддерживали науку, но и старались способствовать утверждению демократических принципов, верховенства права человека и развития гражданского общества в России. Некоторые фонды сознательно стремились переориентировать исследователей, традиционно сотрудничавших с оборонной промышленностью, на другие направления деятельности. Несмотря на то что далеко не все фонды ставили перед собой политические цели, активность некоторых из них на этом поле стала причиной того, что после прихода к власти администрации В. Путина российские власти стали с некоторым подозрением относиться к деятельности иностранных фондов, что привело к изменениям как в российском законодательстве, так и в практике взаимодействия между властями и представителями иностранных научных организаций.

Новым явлением в постсоветской России стали правительственные фонды поддержки научных исследований, прежде всего Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Рос-

сийский гуманитарный научный фонд (РГНФ). Несмотря на то что история таких фондов достаточно коротка, авторы считают возможным сделать ряд выводов относительно специфики и результатов их работы. Прежде всего, базовая концепция этих фондов принципиально отлична от традиционных форм государственного финансирования науки в стране. «Фонды ориентированы на контакт непосредственно с учеными (отдельными исследователями или их группами), а не с учреждениями, в которых работают эти специалисты. Фонды предпочитают финансировать конкретные проекты, а не “общие темы”. Отбор получателей средств из этих фондов осуществляется путем экспертной оценки предлагаемых проектов, а не административно. Фонды требуют прозрачности бухгалтерской отчетности и обеспечения свободного доступа к результатам исследований. Наконец, предполагается, что ученые должны иметь равный доступ к возможности финансирования своих исследований за счет средств правительственный фондов – вне зависимости от административных позиций исследователей» (с. 65).

Деятельность этих государственных фондов нового типа, как отмечают Грэхем и Дежина, является лучшим свидетельством взаимосвязи между политической системой страны, ее экономическим строем и теми методами, которыми власть поддерживает науку. И если поначалу ученые в большинстве своем с подозрением относились к новой системе финансирования, то со временем большинство из них, по мнению авторов монографии, убедилось в том, что конкуренция за деньги из государственных фондов поддержки науки, как правило, завершается тем, что поддержку получает более качественное исследование. «Это означало, конечно, что некоторые ученые терпели неудачу, соскальзывали в бедность или вынуждены были менять работу. Адаптация к таким дарвинистским принципам была не только болезненна, но и противоречила духу коллективизма, все еще сильному в российском обществе». Однако со временем новая система финансирования получила признание (с. 66).

По мнению авторов, российская наука пережила худшие времена и нашла новые точки опоры. В 2000-х годах бюджетные ассигнования на науку начали увеличиваться; замедлилась утечка мозгов, хотя это по-прежнему остается серьезной проблемой. На повестку дня, по мнению авторов, к концу первого десятилетия XXI в. встали назревшие реформы в управлении наукой, ее организации и принципах государственного финансирования. Эти задачи связаны с насущной потребностью формирования нового делового климата и коммерческой культуры, что должно обеспечить быстрое исполь-

зование инноваций в экономике. К моменту выхода монографии (2008) эти реформы лишь начинались, полагают авторы.

Другой важной задачей Грэхем и Дежина считали интеграцию научных исследований и высшего образования, причем, по их мнению, особый статус Российской академии наук и ее учреждений, сохранившийся с советских времен, затрудняет процесс создания «исследовательских университетов» (с. VIII). Руководство РАН приложило немало усилий и – в необходимых случаях – проявляло определенную гибкость для того, чтобы сохранить доминирование Академии в сфере фундаментальных исследований. При этом, как отмечается в монографии, иностранная (и особенно американская) помощь в значительной степени была направлена на превращение российских университетов не только в образовательные учреждения, но и в исследовательские центры.

Как это ни парадоксально, одной из причин того, что реформы в сфере образования и науки в новой России шли так тяжело, было то, что эта сфера в советский период достигла значительных успехов. Если после краха СССР и представители политической элиты, и простые граждане в подавляющем большинстве были убеждены, что советская политическая система и экономическая модель себя изжили, науку и образование, напротив, хвалили как лучшее из того, что было создано в Советском Союзе. Наука и образование оставались предметом национальной гордости тогда, когда политический и экономический строй перестал быть таковым. Гордость за достижения прежних времен препятствовала пониманию того, что старая советская система науки и образования не сможет так же функционировать в новых условиях. «Гордость советских ученых и преподавателей зачастую мешала им видеть очевидные вещи. Когда в постсоветский период предпринимались попытки реформирования науки, старые кадры жестко сопротивлялись им, заявляя, что в результате «мы потеряем славные достижения советского образования и науки»». Именно этим авторы объясняют, в частности, постоянное затягивание реформы Академии наук и блокирование практических шагов, направленных на сближение учебного процесса и исследовательской деятельности (с. 167–168).

В то же время Л. Грэхем и И. Дежина считают «вполне законным» вопрос о том, в какой степени хорошо зарекомендовавшие себя в других странах модели организации науки и образования могут применяться в российских условиях. Дискуссии иностранных советников с российскими учеными и администраторами в научно-образовательной сфере, как правило, заканчивались тем,

что обе стороны констатировали целесообразность интеграции науки и образования; при этом каждая из сторон понимала механизм этой интеграции по-своему. Российские специалисты, как правило, понимали и понимают под такой интеграцией возможность, с одной стороны, преподавания отдельных курсов в университетах учеными из системы РАН, с другой – необходимость отбора лучших студентов, которые после завершения образования в вузе могли бы работать в академических институтах. Согласно такому представлению, интеграция означает развитие системы личных связей между представителями академической науки и высшей школы, но при этом учебный процесс должен по-прежнему реализовываться в университетах, а большая часть исследований, как и раньше, будет осуществляться в Академии наук. Западные, и особенно американские советники, говоря об интеграции исследовательской и образовательной деятельности, обычно подразумевают, что и та, и другая должны осуществляться в одном и том же месте, в одном учреждении. Преподаватели вузов должны быть не только педагогами, но и исследователями; при этом те, кого они учат, тоже должны быть и студентами, и исследователями одновременно. Это принципиальное различие в подходах, по мнению авторов монографии, до сих пор не преодолено, хотя благодаря реализации некоторых западных программ, таких как Программа фундаментальных исследований и высшего образования (Basic Research and Higher Education Program), в ряде российских университетов ситуация начала постепенно меняться.

Не скрывая своей симпатии к американской модели исследовательских университетов, Л. Грэхем и И. Дежина признают, что вероятность создания масштабной и действенной системы такого типа в России невелика. Поэтому, с точки зрения авторов, возможно, лучшим вариантом для России стало бы создание принципиально отличной как от советской, так и от американской систем собственной уникальной модели, в рамках которой университеты и академические институты имели бы не просто плотную сеть взаимосвязей, – должна быть введена практика «временного обмена персоналом». При этом университеты и академические институты могли бы сохранять свою базовую ответственность (primary responsibility) за образование и исследования соответственно. Признавая, что американская система является не единственной в мире, в рамках которой удалось интегрировать науку и образование, – в каких-то отношениях германский и французский опыт может быть более подходящим для адаптации к российским реалиям – авторы

в то же время обращают внимание на то, что в обеих крупнейших европейских странах в настоящее время предпринимаются попытки преобразования научно-образовательных систем в целях повышения их конкурентоспособности прежде всего опять-таки за счет сближения образования и науки. Особенно подходящим для России Грэхему и Дежиной представляется принятное в Германии решение сделать ставку на лучшие исследовательские университеты, потенциал которых немецкие власти стремятся наращивать.

*С.В. Беспалов*

# **НАУКА В СССР: СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ**

## **Сборник обзоров и рефератов**

Оформление обложки И.А. Михеев  
Технический редактор Л.А. Можаева  
Компьютерная верстка О.В. Егорова  
Корректор О.В. Шамова

Гигиеническое заключение  
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.  
Подписано к печати 28/V – 2014 г. Формат 60x84/16  
Бум. офсетная № 1. Печать офсетная Свободная цена  
Усл. печ. л. 12,25 Уч.-изд. л. 10,5  
Тираж 300 экз. Заказ № 48

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,  
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997  
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий  
Тел/Факс (499) 120-45-14  
E-mail: [inion@bk.ru](mailto:inion@bk.ru)**

**E-mail: [ani-2000@list.ru](mailto:ani-2000@list.ru)  
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в ИНИОН РАН  
Нахимовский проспект, д. 51/21,  
Москва, В-418, ГСП-7, 117997  
042(02)9



